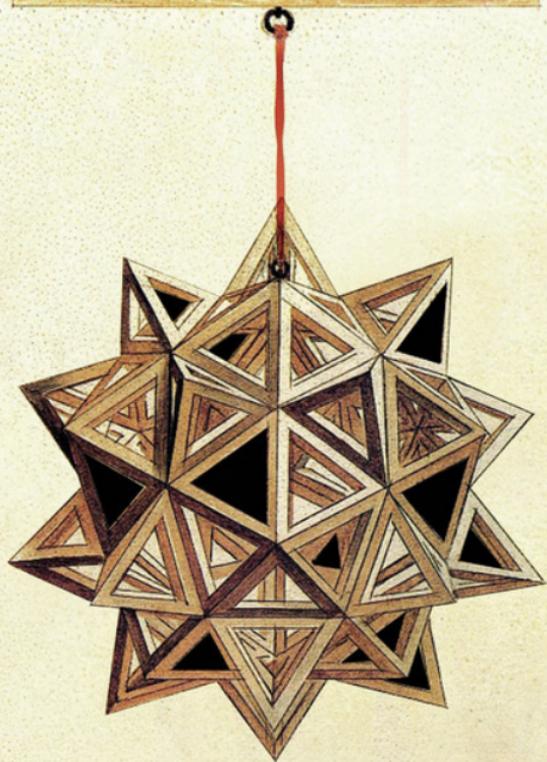


АНТИУТОПИЯ



Владимир Маканин

Владимир Семенович Маканин

Антиутопия (сборник)

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2359065
Владимир Маканин. Антиутопия: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-50875-4*

Аннотация

«Антиутопия» – уникальная авторская антология, собранная Владимиром Маканиным из собственных текстов, созданных в разные периоды творчества и объединенных темой судьбы человека во враждебном ему тоталитарном обществе.

В рассказах и повестях антологии Маканин предстает условным реалистом – на манер Виктора Пелевина, заглядывающим за край действительности – как древний путешественник за край карты в поисках новых земель. Не фантастика, но и не правда жизни. Как будто открыли форточку в темную ночь и пугающий холод потустороннего проник под кожу.

Имена Замятина и Платонова, Оруэлла, Хаксли и Балларда возникают в памяти сразу при чтении «Антиутопии». И, несомненно, имена Петрушевской, Толстой и Кабакова – когда речь заходит о современниках Маканина.

Эта необычная жанровая книга – не характерная для Маканина – открывает новую грань таланта известного писателя.

Содержание

СЮР В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ	4
СЮР	4
ИЕРОГЛИФ	32
НЕСЛУМНЫЕ	44
ТАМ БЫЛА ПАРА...	59
ЗА ЧЕРТОЙ МИЛОСЕРДИЯ	80
1	80
2	100
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Владимир Маканин

Антиутопия

СЮР В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ

Повесть

СЮР

Человека ловила огромная рука. Человек этот, слесарь Коля Шуваев, работал в заводской мастерской – скромный слесарек, обычный, не выпивающий часто.

Возвращаясь с завода, рабочие довольно долго ехали в переполненном троллейбусе, а уже на троллейбусной остановке расходились кто куда – Коля поворачивал к общежитию; и там, где ему входить в свою общагу, в подъезд № 3, он оставался на какую-то минуту один. В эту минуту огромная (такая, что Коля мог весь уместиться в ее ладони) рука вдруг хватала его. Коля вырывался, шмыгал в подъезд и бегом, бегом, с колотящимся сердцем подымался к себе на второй этаж.

В их подъезде за входной дверью имелся как бы предбан-

ник, незанятый пяточок пространства, а уже за ним вторая входная дверь вела непосредственно внутрь. Тем самым в предбаннике слева сам собой образовался пустой угол, который, конечно, использовался – там стояли лопаты, метла, а в эти дни туда прибавились после демонстрации флаги, которые парни поставили там наспех на пару дней и которые затем следовало вернуть в профком. Лопаты, метла, а теперь еще и скрученные флаги от частого хлопанья дверью сползали, лежали на полу поперек, и Коля каждый раз боялся, что на бегу споткнется.

Перепрыгивая сползшие лопаты, он стремительно распахивал входную дверь, а рука гналась за ним. Не сумев схватить, рука успевала своим здоровенным пальцем больно поддать Коле в задницу или в спину, словно бы бревном; после такого удара слесарек вбегал по ступенькам наверх, как будто им выстрелили из пушки. Но дома он был уже в безопасности.

Впрочем, в последнее время оказалось, что в собственной комнате ему тоже надо быть осмотрительным. У Колиной подруги Клавы была здоровая привычка спать с открытым настежь окном. (Крепко сбитая женщина, молодая, повар по профессии, много часов возле жаркой плиты – ей даже ночью казалось, что в комнате душно. Коля, напротив, ночью зяб.) В ту ночь Клаву мучила жажда; вероятно, она проснулась, пила воду и вновь открыла окно. Но, может быть, он и сам попросту забыл прикрыть.

Среди ночи Коля почувствовал, что его давят. Он подумал, что Клава, повернувшись во сне, неловко придавила его плечом, но нет, Клава спала отодвинувшись, спала от него чуть в стороне (раскинулась там от жары). И тут же Коля почувствовал, как его придавили огромные два пальца. Рука не могла пролезть в окно, но два своих пальца просунуть вполне могла и ими (каждый палец как подвижное короткое бревнышко) искала его, нащупывала в постели. Вскочив, Коля, схватил первое, что попало ему под руку (Клавин зонтик, с которым она пришла), и ударил, а затем ткнул в один из огромных пальцев. Зонтик не игла, но все-таки достаточно остер, и ткнул им Коля с большой силой и яростью. Нашаривающие пальцы отдернулись. От боли огромный палец подогнулся и стал уползать в открытое окно, за ним и второй. Рука убралась. Коля стоял у окна. Он еще подрагивал. Он выкурил сигарету, выдыхая дым в ночное окно, и лег наконец снова в постель рядом с Клавой, которая в темноте белела большим своим телом. Слесарек лег к ней ближе и, не в силах себя унять иначе, стал ее обнимать, немного тискать, одной рукой ворошил груди, другую запустил вниз. «Да ну тебя, Колька! Дай же покоя!..» – ворчала она, потом уступила, продолжая спать. Он заснул только под самое утро. Лежал на боку, глаза открыты, думал – как же быть?..

Рука подстерегла его в обеденный перерыв (он выскочил из мастерской, чтобы забежать в гастроном – у магазина пол-

но народу). Купив, Коля решил, что с продуктами он забежит сначала к себе в общагу, забросит их в холодильник. Но на улице он оказался один. День солнечный, обеденное время, а вот ведь ни души. И непонятен был тот миг и переход (никакого особого мига и перехода тут и не было), когда рука вдруг упала сверху и, прихватив Колю кончиками огромных пальцев, стала душить, сдавливая грудную клетку и перебираясь через его плечи уже к горлу. Взвизгнув, слесарек вырвался, толщ пальцев и некоторая их неповоротливость дали ему возможность ускользнуть посреди пустой улицы. Коля припустил бегом, влетел в общежитие и, прыгая через несколько ступенек, к себе на этаж – в комнату. Десяток купленных яиц был почти весь раздавлен. Буханка свежего хлеба смялась в лепешку, масло (дефицит тех лет) расплющилось и через лопнувшую обертку заляпало и сумку, и левый бок его рубашки. (Вечер – это понятно. Но вот так откровенно, среди бела дня рука никогда прежде не нападала.) Коля минут десять не мог сладить с нервами.

Однако надо было идти в мастерскую. Коля топтался у выхода, ждал, курил, и, только когда сразу трое или четверо ребят, пообедав, повалили из общежития на работу, он пошел вместе с ними. На работе было спокойно. Сдельщики работали не покладая рук. В мастерской Коля поднял валявшийся там металлический штырь. Штырь был полуметровый, довольно тонкий, но в конце рабочего дня Коля дополнительно заточил его на всякий случай. Взял с собой. Ничего. Мало

ли куда и зачем идет слесарь с металлическим штырем.

После работы он зашел к Клаве в столовку, их столовой на ужин выделили сердце да кровь. А мясо, видно, уплыло куда-то на сторону (в чем и доход). «Ишь, внимательный: мяса свежего захотел! Убоинки, а?» – засмеялись поварихи. А Коля ничего не хотел. Просто сказал, что думал. Он сел поодаль, ждал Клаву.

Две большие плиты, а значит, восемь конфорок, поварихи заняли их одновременно – в восемь сковород на огне (в шесть темных, чугунных, послуживших уже лет сто, и в две белые легкие, вполне современные) наливали для жарки кровь. Клава черпала в ведре большой деревянной ложкой и, не выплескивая, осторожно выливала кровь, заполняя каждую сковороду примерно на треть. Вторая повариха рубила лук. Кровь, как известно, лучше жарить с луком, все-таки вкус крови не так шибает в нос. «Но зачем отбивать вкус? Вдруг кто-то любит со вкусом», – говорила вторая повариха. «С луком лучше», – отвечала Клава, продолжая зачерпывать и разливать. Кровь в черные чугунные сковороды вливалась неприметно, как в темноту, а в две другие лилась, ало окрашивая белое дно; от кача сковороды кровь отступала волной, и белизна дна вновь обнажалась.

«Где твой слесарек? Чего скучает?!» – спросили Клаву разговорчивые поварихи, после чего Коле, сидевшему без дела, конечно же подсунули порубить сердце на все восемь

сковородок. Клава вынимала сердце той же деревянной ложкой – громоздкое, скользкое и все в стекающей крови. На четыре части рубить было легко, но развалить надвое каждую четвертинку уже надо было стараться. Нож был не слишком остер, куски отползали, но в конце концов Коля порубил достаточно мелко, и вторая повариха, подхватив, ссыпала куски туда и сюда. Плюхнувшись на сковородку, куски немедленно погнали кровь от края к краю мелкими волнами. Огонь сделали сильнее, пошел запах. Стояло легкое марево. И как только дверь на кухне распахивалась, марево со всех восьми сковородок клонилось в одну и ту же сторону. Дверь прикрывали, и опять кровь курилась ровно; как восемь озер, спокойных и неподвижных, думал слесарек с некоторым интересом.

Пламя сделали жарче, и кровь сворачивалась. Пузыри лопались, пригорая. Восемь озер, как восемь полей сражений, задымались, заволоклись гарью, и было похоже, что после ружейной пальбы вступили наконец в дело пушки.

Час, если не больше, просидел Коля в ожидании, но, когда пришел шеф-повар, выяснилось, что работа в столовой не кончена – девочки остаются, Клава в их числе. Приехали ведомственные деятели: надо кормить. Деньги последнее время даются с трудом. Да, да, снова варить вермишель и рис обязательно, они любят рис. Шеф-повар принес два здоровенных куса говядины, нашлось-таки мясо, сделайте, девочки, им по бифштексу, только не слишком старайтесь, ко-

гда будете нарезать порции!

И шеф засмеялся:

– Чтобы нам самим тоже мясо осталось. Понятно?

Было понятно.

Готовить начали заново, дело предстояло долгое (Клава сказала, чтобы Коля ее не ждал – она припозднится, но к ночи, конечно, придет). Коля ушел. Он долго ехал в троллейбусе.

Возле дома было уже темно, и светила одна-единственная лампа над входом в общежитие. Коля уже прошагал темное пространство: все тихо. Он решил, что опасное позади. Он уже стал насвистывать, когда услышал шум воздуха, сильную воздушную волну.

Рука была тут как тут. В полутьме она, вероятно, потеряла Колю, но теперь, опередив его, стремительно влезла в открытую дверь общежития, шарила там, засунув три огромных пальца (обычно ей удавалось просовывать два). Коля приготовил штырь, подумал, не ткнуть ли. Но не решился – боль придала бы руке активность и злость. Было проще проскочить меж шарящих пальцев (рука их то всовывала внутрь, то вновь медлительно вынимала – искала вслепую), и Коле бы, конечно, удалось, если бы он чуть смелее прыгнул.

Третий палец, хотя и мешал тем двум пальцам, шарившим в пространстве предбанника, однако тоже там елозил и загоразивал. А когда Коля прыгнул, штырь, который он придерживал, каким-то образом в тесноте стал поперек пальцев;

Коля запнулся, успел бросить штырь и успел даже проскочить в подъезд, но упал. Огромные пальцы тут же прихватили его за ногу, вытащили наружу, и здоровенный ноготь, овальное матовое зеркало, придвинулся прямо к его лицу. Затем Колино лицо стали вдавливать в это зеркало. Нос, брови, губы – все сплюснулось. Слесарек задергался, но к матовому огромному ногтю его лицо придавливали все сильнее. Пальцам мешали их собственные размеры, а Коля бился изо всех сил, дергался, молотил в воздухе ногами и в конце концов все-таки выскользнул. На четвереньках он бросился к входным ступенькам, в то время как рука, ища потерянное, возила здоровенными пальцами по асфальту совсем рядом. В этот миг Коля увидел свою кепку, упавшую с головы еще в самую первую минуту атаки, – с яростью он вдруг кинулся за кепкой, моя, мол, кепка, подхватил ее, а с ней схватил и штырь, лежавший рядом, и теперь, вооружась, колол и бил, и снова колол большое светло-серое мясо. Из синих ранок хлынули ручьи крови. Рука замерла, пальцы болезненно отдернулись, а Коля, сколько мог сильно, уколол еще. Рука убралась из входа в общежитие – на этот раз она убралась рывком, а Коля в приливе смелости выскочил вслед, размахивая штырем как шпагой. Получив тут же удар, он рухнул в какую-то лужу возле входа, с него вновь слетела кепка.

Но уже миновало – рука убралась совсем. Коля встал. Он поднялся к себе в комнату и там, возле умывальника, смывал грязь с лица, с ободранных в падении колен. А хорошо, что

я сунул ей штырем под ноготь, думал Коля, умываясь и все еще подрагивая.

Поговорить бы теперь, выпив пивка, с Валерой Тутовым – вот чего хотелось Коле. (Валера Тутов был смел, его любили бабы, он запросто общался с соседями-интеллигентами и вообще много чего в жизни знал или хотя бы слышал – к тому же они как-никак кореша. Друг – это друг.) Но Валера Тутов был далеко, был в отпуске. Так что в пустой вечер слесарьку Коле ничего не оставалось, как ждать свою Клаву. Коля вздохнул. Клава тоже хороший человек – с Клавой они собирались пожениться.

Томясь, Коля пошел в общежитскую гостиную – длинную общую комнату на первом этаже, где телевизор и где уже рассаживались пришедшие с работы мужики, занимая места и возбужденно споря: ожидался футбол. Но на экране пока еще тянулись кадры пустыни, куда-то брели цепочкой верблюды, желтые пески лежали до самого горизонта. Кой с кем из мужиков Коля поздоровался, посидел с ними, посмотрел на перекатывающиеся с ветром по пустыне белые песчинки (мало-помалу, песчинка к песчинке – так передвигались целые барханы и заносили города!), но потом он все же не усидел, заскучал и еще до футбола вернулся в свою комнату, где лег ничком на постель, ожидая Клаву. Клава теперь не скоро. (Начальство любит поесть как следует и не спеша.) Коля задумался уже о другом: он не знал, как ему быть и как жить

с этой вот гонящейся за ним рукой. Не идти же к врачу. Врач заставит подробно рассказывать. Врач запишет. Коля был простой слесарь, но он, конечно, понимал, что сказать про огромную руку – стыдно. Ведь черт знает что. Ну как скажешь, хотя бы и Клавке?..

Он стал вспоминать, как началось. Вроде бы во время обеда в столовой (в их заводской столовой) он приотстрил взгляд и увидел у какого-то мужика здоровенную правую руку. Когда присмотришься, у всех мужиков правая рука сильнее. Да, хлебал щи... А после (в тот же день) Коля увидел плакат. Большущий и в ярких красках плакат: могучая трудовая рука расставляла там по всей нашей стране то высокие дома, то детсады и школы, даже красивые кафе, а внизу подпись: **ХОРОШО СТРОИШЬ – ХОРОШО ЖИВЕШЬ!** – так вполне понятно и доходчиво призывал плакат строителей. Рядом с тем плакатом стоял строительный кран, настоящий, работающий кран (или, может быть, позади плаката висел еще один большой плакат, где строительный кран был нарисован? – в этом Коля сомневался, он уже не помнит), а под стрелой крана на строительных лесах почти возведенного высокого дома работали монтажники.

Там, на высоте (это он помнит), двое монтажников не поладили – отложив сварочные аппараты, оба они кричали, размахивали руками, и один из них вдруг оступился. (Либо он забыл закрепить строительный пояс, либо застежка пояса попросту не сработала.) С высоты строящегося дома сорвав-

шийся человек с криком летел вниз, скорость падения росла, крик замер, так что уже с пресекшимся дыханием человек падал на землю и несомненно бы разбился, как вдруг рука – вот та, огромная, которая высокие дома, школы и даже кафе расставляла по зеленому полю – подхватила и бережно так опустила сорвавшегося строителя на гору песка возле бетономешалки. Такая вот сильная рука... Коля заснул, не додумал мысль до конца.

– Чего ты спишь в такую рань?! – Клава пришла спустя, может быть, час. Она растолкала его, подняла. И как ни утомлена она явилась из дымной своей столовки, сказала, что хочет сегодня в кино – пойдем, пойдем, Колька, скорее...

Напяливая кепку и зевая, Коля сказал:

– Я и без того каждый день кино вижу.

Коля привыкал: выйдя, скажем, утром на улицу и заметив, что он посреди улицы в эту минуту один, скорым шагом преодолевал пустое место и торопливо выходил к троллейбусу. (Где на остановке всегда стояли люди и было безопасно.) Он приспособился быстро переходить, перебегать на другую сторону проулка ближе к школе, так как ограда школы состояла из железных стержней с нацеленными кверху остриями, и руке там (а рука всегда обрушивалась сверху) приходилось вести себя сдержанно. Рука объявлялась мигом, она словно бы свешивалась с высоты соседнего дома, что в шестнадцать этажей, и падала стремительно вниз, растопыривая пальцы

и уже с ходу этими пальцами ища и лоя, но Коля бежал, прыгал (он изворотливо бежал и ловко прыгал, как ускользающий маленький человечек). Делал ложные движения и нехитрые финты на укоротившемся проулке с тем расчетом, чтобы рука с маху налетела на столб фонаря, накололась на острие школьной ограды и отдернулась. (А он тем временем уже проскакивал к шумной улице, к остановке троллейбуса, где шел или стоял народ.)

Ночью Коля спал, в общем, спокойно, положив, однако, под кровать свой штырь. Если среди ночи окно оказывалось открыто и через сон он слышал возню шарящей огромной руки, то просыпался (Клаву не будил, даже слова не говорил), опускал свою руку с постели на пол, брал штырь и, сонный, едва разлепив глаза, наносил удар в один из пальцев, целя пониже овального матового ногтя. Рука убиралась во свояси, после чего Коля отворачивался к стене, продолжая прерванный сон. Жизнь есть жизнь, и, если какой-то вопрос никак не удастся решить, человек живет с этим вопросом бок о бок. Живет вместе с вопросом, вот и все. Ночь шла. Коля спал. Не услышавшая шума Клава тоже спала, как всегда, крепко.

Они налили себе еще по полстакана – Коля и компрессорщик Валера Тутов, вернувшийся наконец из отпуска.

– Мне всякая чушь мерещиться стала. Башка такой дурной сделалась, охренеть можно, – осторожно начал Коля.

(Он решил: он расскажет своему дружку Валере про гонящуюся руку. Если же разговор не получится, он объяснит Валере после, что был пьян и молол чепуху. Сойдет за пьяную болтовню.)

Вернувшийся с отдыха Валера Тутов ответил:

– Это погода такая дурная. Я тоже работать не могу. Сажу у компрессоров – и беспрерывно бабы, бабы, бабы в глазах... С ума сойти!

Коля:

– Ха-ха. Бабы!.. Мне вместо баб рука мерещится. Рука. Гоняется за мной, хоть в психбольницу беги!

На деле же рука была вполне реальна, однако осмотрительный Коля так и сказал для виду и для начала – мерещится.

Компрессорщик Валера Тутов ответил строго. Напустил на себя:

– А знаешь, это хорошо. Каждому человеку сейчас должна большая рука мерещиться. Порядку больше будет...

Но сам же, строгости своего тона не выдерживая, он хотнул:

– Это, ха-ха-ха, называется – сюр.

– Что?

– Сюр.

Валера рассказал, что, когда в прошлом году он со своим коленом лежал в привилегированной больнице, где ему вырезали мениск, он слышал, как врачи обсуждали меж собой

всякие такие случаи и психические сдвиги. Нет, про руку врачи не говорили. Но скажи спасибо, что гоняется не нога. Рука ловит, нога давит – сюр!.. (Валера любил щегольнуть незнакомым словом. Коля насторожился по иной причине – ему не понравилось про психический сдвиг. Слово «психический» тянуло само за собой неприятное слово «больной».) Надо обдумать, продолжал Валера. Надо к самому себе приглядеться.

Коля налил еще по полстакана, портвейн шел неплохо.

– Ладно, Валера. Что еще врачи говорили?

– Говорили, у каждого в жизни бывает момент, когда его потрясает. Р-раз – и человек шизанулся.

Они выпили.

К ним подошли молодые женщины из их общежития, стали дергать: «Сколько можно болтать?!», «Смотрите, как они оба расселись на скамеечке: сами пьют и сами болтают, ох уж этот Валера!», «Валерочка! Неужели в отпуске ты мало пил?» – так они трепались, с просветлением на лицах, а из общежития уже слышалась музыка. Молодые женщины организовали в этот вечер дискотеку. (Танцевали. С той стороны общаги жили женщины-текстильщицы, отдельный вход.) То ли просто воскресный день, то ли у них намечалось какое-то событие – было неясно. Но было ясно, что разговору они определенно помешают. Женщинам хотелось танцевать.

– Мы о врачах говорим, – мрачновато ответил им Коля, отваживая.

– О врачах?! – Молодые женщины захихикали.

Одна из них тут же и увела Валеру Тутова. Коля посидел на скамейке один, подумал о Клаве – не пойти ли к ней в столовку?.. Нет, надо еще пообщаться с Валерой. (Друг есть друг. Ведь Коля его ждал. Ведь как приятно – встретить человека и немного озаботить, нагрузить его своей жизнью, мол, понеси теперь ты...) Коля решил, что их разговор не закончен. Он зашел к себе в комнату, прихватил там еще одну бутылочку портвейна (из припасенных загодя; бормотуха, а пилась сегодня неплохо!) и тоже отправился туда, где танцевали.

Он пригласил какую-то молоденькую, помаленьку тискал ее в танце и все обдумывал сказанное Валерой.

Разговор ведь вполне получился. Оказывается, можно и про такое поговорить. И непугающее слово нашлось: сюр.

Стоять у подоконника было удобно, можно было пить глотками и о подоконник опереться и еще поглядывать в окно на деревья – славно!.. Собравшиеся в зале (это был вообще-то кинозал) танцуют, шумят, ходят суетливо туда-сюда, а вы двое стоите себе чуть в сторонке от них: пьете себе портвешок и поглядываете в окно. Стаканы и бутылки аккуратно стояли за фикусом. Пилось хорошо. И говорилось тоже хорошо, свободно.

– ...Я – человек вертикальный. Я много думаю о смысле жизни. (Люблю женщин.) Я все до единого смотрю кино-

фильмы. То есть духовно я богат, и поэтому сверху, то есть со стороны духовности, я защищен. А вот от людей – значит по горизонтали – мне надо опасаться всяческих ударов и гадостей, – так развивал свою мысль компрессорщик Валера Тутов.

– А я? – спрашивал слесарь Коля.

– А вот ты как раз человек бытовой, горизонтальный. Ты любишь поест, ладишь со своей Клавой, уносишь домой подворованную ею печенку, потаскиваешь мешки с картошкой – у тебя по горизонтали все хорошо и все получается само собой. Ты живешь как трава. Бытовой малый. У тебя все замечательно. Но за это изволь оплатить проезд! – а значит: жди удара по вертикали...

– Так, что ли? – Слесарь Коля медленным движением провёл рукой перпендикулярно земле.

– Примерно так. Сверху. Для тебя, поскольку ты отлично устроился на земле, опасность с неба, понял? Не сбоку, а сверху.

Они выпили еще понемногу.

– Здорово идет портвейн, а?

– Да. Вкусный. Но скоро кончится... Во всем районе, заметь, водки нет.

– Барда-аак!

– Не нравится мне эта опасность сверху, – вздохнул Коля, имея в виду руку, бросавшуюся на него откуда-то с крыш многоэтажных домов.

– А мне? – саркастически хмыкнул Валера Тутов. – Мне тоже не слаще: только и жди удара от людей.

Музыка гремела, танец за танцем следовали теперь беспрерывно. Валера Тутов нет-нет и отправлялся отплясывать (забытый твист Валера тоже отменно танцевал), так что разговор шел, но шел он, подстраиваясь под веселье – урывками. Коля впал в задумчивость. В словах Валеры, как всегда, была какая-то незнакомая новизна. Нет, Коля не испугался. Он, в общем, уже привык к огромной руке, привык и даже приспособился к преследованию: он сможет прожить и сам по себе, без объяснений, но все же лучше, когда есть такие слова (когда эти слова расставят твои заботы на известные или понятные места).

– Ты, Коля, не скисай, – когда они еще выпили по полстакана, повел дальше разговор Валера. – Знаешь, что может обозначать рука? Да что угодно!.. Мне один доцент говорил, что любовь к нему всегда приходит в виде старухи. Такой знак. Ты стоишь, например, в очереди, вдруг тебя тихо-тихо кто-то сзади трогает за плечо – оглянулся: старушка стоит. С авоськой. Или с сумкой, обыкновенная старушка. Это значит, что к тебе скоро придет любовь.

Коля ответил:

– Да у меня уже Клавка есть.

– Кла-аавка. Да таких, как Клавка, знаешь сколько!

Коле стало немного досадно, но затем он согласился: и точно, Клавка одно, а любовь, может, совсем другое... Коля

вдруг воодушевился:

– Слушай! Может, и точно – старуха?.. Ведь она одной рукой меня ловит? Одной! Две ее руки меня бы сразу поймали. Но рука – одна, а значит, во второй руке у нее авоська. Или сумка. Огромная такая старуха. Это же потрясающая придумка! – Воображение вспыхнуло, слесарек Коля сделался весь красен.

Он представил себе огромную старуху, и ведь каким-то образом она ходит на своих огромных ногах. Ножищи у нее небось как колонны!.. Коле (в парах портвейна) нравилось думать об этом: грандиозная, дурацкая такая страшила! как в кино!

Но Валера его уже не слушал.

– Кто это? – спрашивал Валера Тутов.

Спрашивал – и указывал глазами на пышную телом молодую женщину: она пришла с новой, только что ввалившейся в общежитие компанией. В кинозале, где танцевали, стало тесно. Стулья вынесли вон. Компания, как выяснилось, принесла с собой выпивку. Общага вновь зашумела, загудела. Пышная молодая женщина с несколько необычным именем Васса, так сразу поразившая своей внешностью Валеру Тутова, оказалась новенькой – из тех поселившихся в их общежитии совсем недавно. Валера пригласил ее танцевать и уже не отпускал. Он умело прижимал ее в танце, постанывал, но она была сдержанна, молчала; когда он целовал, она отворачивала от него лицо и вместе с лицом губы. Валера

ловил правильную минуту, но Васса тотчас отворачивалась от него вновь (в тот самый момент). Свет в зале был почти полностью погашен. Музыка врубили на полную мощность.

В только что пришедшей и расположившейся на стульях компании оказался рослый рабочий из строителей: он, видно, пришел прямо со стройки (даже свою спецовку не успел снять). Работяга сидел близко от Коли и, выпив водки, деловито закусывал тем, что вынесли наскоро текстильщицы из своих комнат. То сырок плавленый он ловко разрезал на два, то двигал к себе банку с рыбными консервами и, нажимая на хлеб, выедал банку до дна.

Коле надоело следить в толпе танцующих за Валерой и за его новой молодой женщиной, и теперь в поле зрения попал этот энергично закусывающий строитель, точнее – его рука. (Она казалась больше обыкновенной руки: сильная, вся в буграх. Правая.) Но не обман ли оптический? – Коля стал поглядывать на свою руку, сравнивая, а также на руки парней, что так слаженно танцевали с девчонками в полутьме.

Строитель сидел себе на стуле и продолжал жевать, уминая теперь салат, – правда, работяга сидел ближе, а другие парни были поодаль, так что и тут могли быть оптика и самообман. Вот ведь ручища! – Коле хотелось подойти, познакомиться и, например, спросить, как, мол, у вас с жильем для строителей и прочее, – а главное, знакомясь, пожать эту руку. Строитель как раз доел салат, поднялся из-за стола и

пошел на этаж к женщинам-текстильщицам.

Но проходил он рядом, и Коля хватанул его за рукав спецовки.

– Ты чего? – дернулся мужик.

Коля не отпустил. Напротив, схватил за руку и стал несильно крутить.

– Ты чего-о? – взъярился строитель.

– А ничего.

Строитель чуть шагнул в сторону и двинул Колю левой (Коля уже его отпустил) – от удара Коля успел уклониться; пришлось вскользь. Мужик ушел. Коля улыбался: рука строителя оказалась обычной, рука как рука.

Войдя в общежитие, Коля даже не успел приоткрыть вторую входную дверь, с такой стремительностью ему пришлось отскочить в угол, где стояли лопаты. (Его едва не сбило ударом.) Но дальше внутрь рука за ним проскочить не смогла. Коля стоял прижавшись к углу, а огромные пальцы тянулись к нему, его почти касаясь. (Но все же не доставая. Хорош сюр, думал Коля.) Он вжимался в стену, а рука эластично изворачивалась, стараясь как-то влезть во вход подальше, поглубже, входная дверь потрескивала от давления. Пальцы сгруппировались, чтобы всунуться еще на чуть, но слесарек, уже угадавший подкоркой, что вот-вот придет страшная минута, изловчился и рванул на себя вторую входную дверь – в угаданный момент перегруппировки пальцев он сам бросился меж них в нутро подъезда, даже и стукнувшись об один

из пальцев, как об огромный белый мешок с мукой. И – был уже на ступеньках, вне досягаемости.

Валера Тутов в это время шел, взволнованный до чрезвычайности, провожал Вассу. Молодая женщина ему сказала, что ей уже пора, уже поздно, и случай провожания уже сам по себе представлялся Валере удачей. (Васса делила комнату с подругой, а та, тоже новенькая, как раз сегодня куда-то уехала.) Валера обольщал. Валера говорил вкрадчиво. Валера говорил смело и дерзко, а потом уже и напрямую рвался к Вассе в комнату, уговаривая и стоя у дверей таким образом, чтобы при малейшем положительном знаке втиснуться внутрь. Известная заповедь общежития: не зевай – имеет в виду неписаное правило: если молодая женщина тебе очень нравится, значит, она очень нравится и другим (если она новенькая и в общежитии недавно – дорог каждый час).

Однако Васса не пустила. В конце концов она ударила Валеру Тутова по лицу. Пришлось уйти. Из растревоженной его души всю долгую ночь никак не уходил образ красивой и пышной женщины, особенно же во взволнованной памяти осталась одна замечательная часть ее тела. Эта часть тела у Вассы была непропорционально велика (но не уродливо велика, вовсе нет!). Какая мощь! какие глыбы! – улыбался Валера. Он посмеивался. А забыть не мог. Он и на работе, среди гудящих компрессоров, думал о Вассе. Поразившая часть ее пышного тела все время стояла перед глазами.

Вечером Валера Тутов пригласил ее в кино – не вышло. Отказ. С этой минуты Валера уже томился. Он вдруг чувствовал себя слишком взволнованным и чистым душой, что, сказать по совести, его угнетало. Высокие (вертикальные) порывы своей души он ценил, он очень ценил, но, когда дело касалось отношений с женщиной, он им не доверял: после высоких порывов он делался робким. И себя за это не уважал. «Ангел, – цедил он сквозь зубы. – Ангел, и крылышки скоро вырастут...» Нужна была водка, нужно было как следует напиться, что Валера и сделал, зайдя к кому-то из знакомых мужиков в комнату (он просто заглянул на шум голов за дверью – там пили).

С кем-то он ссорился, кому-то клялся в дружбе. Но и напившийся Валера Тутов продолжал часом позже шляться по общежитию, томясь и все еще чувствуя себя летающим ангелом. (Пора было на землю. Да, да, следовало уже заземлиться и огрубиться, душа слишком рвалась вверх.) Валера не знал, как быть, но его заплетающиеся ноги, кажется, знали. Ноги его вели. Бесцельно бродя по общежитию, Валера попал как раз в тот изгиб коридора, где жили текстильщицы возрастом сильно постарше. К ним можно было прийти и совсем пьяным. Можно было матюкаться, даже драться.

Туда он и пришел. Он еле различал глазами безликую, серую женщину. (Зато живет одна. И чисто. И закуска всегда есть.) А она, глядя на Валеру Тутова, качала головой и говорила: «Ух, хо-ро-оош...» – однако час был поздний, и, хотя

Валера Тутов был сильно пьян, серая и безликая женщина лет сорока была сейчас в сомнении относительно того, как поступить. Она колебалась: выставить его из комнаты немедленно, дав пинка? или, может, сделать совсем наоборот – дать ему крепкого чаю, привести в чувство, приласкать да уложить с собой в постель до утра? Она его примечала в общежитских коридорах и раньше. Молоденький. Но ничего, мужичок крепкий. Сгодится.

Она размышляла, а Валера Тутов, тоже молча, сидел, клевал носом, вот-вот грохнется со стула, однако же, ситуацию тоже прочувствовав, он не уходил: хотелось ласки. Ждал. «Ти-ли-ти». – «Что?» – «Ти-ли-ти, – произнес Валера и наконец, давясь звуками, старательно выговорил: – Тилили-визр», – мол, включи телевизор, буду смотреть. Мол, мне хочется. Он как бы с некоторым опережением входил в роль будущего ее сожителя.

– Небось к молодым пьяный не пошел.

Она его корила. Валера Тутов кивал тяжелой башкой, соглашался – ведь правда. Ведь никогда таким пьяным к Вассе или к другой из молодых женщин он не пойдет. Он бывал у них немного выпивший, бывал крепко выпивший, но ведь не валяющийся с ног. А сейчас он валяющийся.

– Деньги у тебя на дорогу есть? – спросила женщина.

Он кивнул.

– Хочешь, такси тебе вызову?..

Он помотал головой – объяснить ей, что он, Валера Тутов,

живет здесь же, в этом же общежитии, но только вход с другой стороны, сил не было.

– Чаю, – попросил он.

И вот эта, в сущности, пустяковая его просьба (он еле выговорил: «Чаю...») оказалась счастливым, посланным свыше случаем: Валера Тутов выпил подряд три чашки горячего чая, вполне отошел и заулыбался тяжелыми губами. Он словно бы стал другим. Он улыбался (мускулы лица еще двигались плохо, но уже поддавались). Он поправил воротничок рубашки и – поблагодарив за чай – вдруг ушел. И тяжеловесная его улыбка еще не сошла с лица, как тут же, за изгибом коридора, он столкнулся с Вассой, очень спокойной, домашней, в халате, молодая женщина несла с кухни из общего холодильника бутылку молока.

Тут Валера сразу устремился за ней, вошел-таки в комнату, и начались объятия, поцелуи. Дверь Валера закрыл, захлопнул, но верхний свет они не включили, потому что Васса не успела даже протянуть к выключателю руку, так стремительно парень ее обнял. Бутылка молока упала, разлилась в темноте, но Валера все мял Вассу, целовал, даже поскрипывал зубами и стонал. На этот раз она не прятала губ, тоже целовала, обнимала его и позволяла ему мять все, что ему хотелось, за исключением разве что той волнующей части ее тела, которая у нее была несколько велика. (Вероятно, инстинктивно Васса оставляла себе хоть какую-то пядь, чтобы чувствовать себя не совсем и не сразу сдавшейся. Без умыс-

ла, разумеется, и отчасти потому, что ощущала повышенный интерес к пышности своего тела.) Неумышленная ее само-защита, обычная для всякой молоденькой женщины, стала в данном случае ее торжеством и ее победой и... завершением свободной жизни компрессорщика Валеры Тутова. Валера уже не мог жить без этой красивой и пухлой женщины, он должен был иметь. На другой день он и Васса подали заявление в загс.

Они пили чай с душистым земляничным вареньем, которое прислали Вассе ее родные с Тамбовщины. А потом снова и снова с радостью, с дрожью ожидания спешили в постель. Но уже и сравнительно спокойно лаская ее в подсказанные минуты страсти или в минуты краткой передышки, Валера Тутов все еще только добирался до заветного своего желания. Васса Тутова не совсем понимала мужа. (Она нет-нет и пугалась его порывов именно от непонимания.) Наконец в одну из последних ночей медового месяца, уже в третьем часу сумасшедшей ночи, она ему позволила, усталая и смирившаяся. Он стал тискать, мять, припадать, кусать, постанывая и, кажется, даже рыча: «Сюр... Сюр... Сюр!..» – с нарастанием в голосе, которое тоже звучало все более торжественно и победно и которое кончилось, однако, вдруг плохо.

Сердце его зачастило, – зачастило и дало неритмичный внутренний удар и затем еще один столь сильный удар со сбоем, что Валера так и застыл лежа, полураскрыв рот, с

ощущением, что ему на грудь въехал старый тяжелый танк.

Васса ойкнула, вскочила и довольно долго и трудно кой-как натягивала на голого Валеру брюки, потому что не понимала, как же иначе позвать сюда людей. Взывая, вскрикивая, сначала в одной только комбинации, затем накинув халатик, Васса металась по коридору, как мечутся в подобных случаях все молодые жены, вопя и недоумевая. И быть бы большой беде, если бы в своих метаниях по общежитским комнатам она в ряду других случайно не влетела в ту комнату за изгибом коридора, где жила неброская с виду текстильщица лет сорока. Женщина сразу сообразила, что парень много пил и много себе позволял и что, разумеется, сердце. Влила ему в рот вместе с водой размятую в порошок таблетку нитроглицерина, окно настезь, всех охающих и глазающих из комнаты вон, а Вассу поторопила за «Скорой помощью» к телефону.

Валеру Тутова, с выкатившимися глазами и разинутым ртом, осторожно перенесли на пол и стали спасать приехавшие бородачи в белых халатах. К утру Валера пришел в себя, и его забрали в больницу. Только через три или четыре недели он, счастливый, вернулся к Вассе.

Тем временем рука продолжала гоняться за слесарьком, в своих атаках ничего не меняя. А Коля продолжал жить чутко. (Лишь шорох, шуршание выдавали движение огромного гибкого существа, быстро спускающегося и как бы падаю-

щего на Колю с высоких крыш шестнадцатизэтажных башен, соседствующих с их общежитием.)

В тот обеденный перерыв рука, преследуя, как-то замешкалась у входа и, сунувшись внутрь, неловко застряла пальцами в дверях. Коля проскочил легко. Уже стоя на ступеньках лестницы, он подумал, что злить ее, неловкую, сегодня все-таки не следует, но одновременно со здоровой мыслью Коля озорства ради спустился с безопасных ступенек, пнул ботинком в огромный указательный палец и опять отскочил. (Баловство! Косая черная черта легла поперек пальца. Носок ботинка был в темной от мазута строительной грязи.) Руке не сделалось больно, Колин ботинок – это же не отточенный штырь. Но рука убралась. Она как-то непонятно и лениво убралась, с медлительной затаенной угрозой. Валяй-валяй! – прикрикнул слесарек в отваге.

Когда вечером они вместе возвращались с работы, Клава, как всегда первая, в простоте судьбы уже вошла в общежитие, а Коля был у входа, у дверей, и лишь на миг задержался: он подумал, купил ли на ночь сигареты. Тревогу Коля почувствовал своевременно и даже шорох характерный уже слышал, но колебался – и тут рука с лету схватила его. Рука передвинула Колины плечи в самые кончики своих пальцев и стала душить (Коля энергичным образом высвобождался, выкручивался), боясь упустить, рука перебросила его в ладонь, прихватила и сжала, сначала несильно, потом вдруг со всей мощью. Из бедного Коли брызнули его мозги; и вообще

вся его теплая жидкость, какая ни была: кровь, лимфа, моча, пот – все вместе этаким цветным сгустком выскочило из него вверх, к облакам, а кожа и кости, его остатки, были минутой позже выброшены через дома на окраину железнодорожной станции, в тупик. (Где лежали вповал пахучие шпалы и где ржавели старые вагоны. Почти им под колеса.)

ИЕРОГЛИФ

Когда в душе улеглось, я думал: как это все на меня нашло? И почему вместо того, чтобы запальчиво метаться по улицам, я не поднатужился и не принес этим мальчикам и девочкам (добры ко мне) хороший большой кусок говядины? Кусок, конечно, обледенел, перчаток у меня в тот вечер не было, и я ловил мороженое мясо в пышном белом сугробе, а оно выскользывало (как во сне), царапало в кровь пальцы, ударяло, наконец я его ухватил.

Чувство страха, в общем, бесформенно и более похоже на меняющийся иероглиф, нежели на понятную и читаемую букву. (Не знаю, не угадаю его природы – вдруг ближе к ночи чувство прорывается, выскакивает, затем прогорает и, потускнев, столь же быстро исчезает, прячется в свои глубины.)

Начало было отчетливо: той зимней ночью я возвращался один. Возвращался из поздних гостей, где провел много часов и напился (это существенно). Падал снег. Под снегом лежал голый лед, так что ноги скользили. А впереди, во дворе многоэтажного дома, вырисовывалась темная фигура мужчины, который что-то такое в снегу прятал.

Силуэт четкий. Темный. Но – сквозь косенькие белые полосы летящего снега. Несколько насторожившимся ночным взглядом (при этом я продолжал идти) я видел, как мужчина суетится и приподымает из-под снега фанеру: он оттягивал

за угол большой лист фанеры и совал свое «что-то» под эту фанеру, под снег. «Что-то» было большим: напоминало по форме старинную палицу или огромную булаву длиной этак поболее метра. Мужчина ушел, исчез. А я двигался в тишине (в тишине снегопада) московской зимней ночи – двигался пьяненькими зигзагами по скользкому снегу. Не слишком думая, я оказался стоящим прямо у места сокрытия: просто оно само оказалось на моем пути. Сугробы. Там и тут холмы снега, завораживающие своими неправильными объемами. И темный, со слабой подсветкой дом (в одном из подъездов, вероятно, мужчина скрылся).

Посвистывая, я беспечно пошарил в снегу, нашел край фанерного листа, натужась, приподнял. А затем вытащил «что-то», что оказалось коровьей ногой, хорошо подмороженной и по виду из тех стандартных говяжьих ляжек, с голенью, что в немалом числе висели когда-то в мясных отделах наших гастрономов. (Под фанерой был вовсе не род холодильника, напротив – мокрая теплая земля, труба и пар от теплой трубы; мясо бы там, разумеется, зачервивело и сгнило; и, стало быть, мужчина не припрятывал мясо, а выбрасывал; притом выбрасывал так, чтобы никто не видел, не знал. Мяса в магазинах нет, кто, кроме продавца, станет выбрасывать мясо?..) Я стоял покачиваясь; огромный кусок говядины, почти цельная коровья нога лежала возле меня на снегу. Я все еще насвистывал, но мысли мои становились все менее беспечны, а потом нашел страх.

Страх: я почти воочию увидел, как толпа рвет продавца. Допустим, продавца из мясного отдела толпа прямо на улице рвет и топчет, после чего взрыв ярости распространяется на другого продавца, на третьего, а затем уже не только на продавцов, а на всех нас без разбора и смысла: ярость всех против всех. Выплеск уличных расправ, оговоров, репрессий (именно в известной последовательности) как джинн, вырвавшийся из бутылки, встал перед моими глазами – огромный, застилающий небо джинн злобы. Мысль моя не справилась (такое бывает). Оказался напуганным. И так получилось, что, спасая от возможной расправы продавца (и всех нас), я потащил эту улику, это начало начал, эту замерзшую коровью ногу куда-нибудь подальше, с глаз долой, – волок ее, нес, потом бросил рядом с большой проезжей улицей, на обочине. (Чтобы ее почти наверняка подобрал там водитель первого же, раннего грузовика.)

Моему позднему возвращению хозяева не удивились. «Мужик вернулся», – только и сказал один из молодых людей, открыв мне дверь. (Такой, мол, нынче гость.) С сигаретой в руке, он впустил меня. И тут же ушел в комнату: они там вполголоса говорили, музыки уже не слышалось. Меня знобило, я отправился в дальнюю комнату в глубине их квартиры, где никого не было, и повалился в постель, а добрая Маринка (жаль, не Маша) укрыла меня позже прокуренным одеялом.

Вероятно, в ту первую минуту я и сам сделался зол: здоровенную коровью ногу упрятать обратно под фанеру в снег я никак не мог. Она все время выпирала из-под снега, она торчала, как я ни бился над ней, как ни заталкивал. Руки мерзли. И было ясно, что утром ее обнаружат. Наверняка есть и штамп, магазинная или складская фиолетовая печать на коровьей ляжке, – возможно, толпа уже утром выволочет продавца гастронома из постели и, если не разорвет, потащит его в милицию (что будет как раз тем итогом, который он заслужил), но ведь заботило меня вовсе не спасение некоего продавца от тюрьмы. Мои мысли уже набрали космическую скорость.

Легкая для продавцов доступность мяса ведет к тому, что, не успевая свои запасы съесть, продавец попросту меняет мясо в домашнем холодильнике на более свежее; холодильник тесен, так что залежавшееся надо выбросить (госцена для мясника плевая, убытка тут ноль или почти ноль), однако же толпе в эти тонкости вникать нет нужды, толпа и без того, как напалзающее возмездие, переполнена все и вся сокрушающей злостью. (Толпа не поймет чьей-то личной вины. Как не поймет, скажем, чьей-то личной жизни.) К тому же толпа сама может надеть (законности ради) проверяющие красные повязки на руки. От какого-нибудь домового комитета повязки, от комитета ветеранов войны, какие угодно, но красные, с понятной тщательностью подделки, и сама же

(после первого очевидного случая, после этой вот коровьей ляжки под снегом) начнет хватать всех мясников подряд или – шире – всех вообще продавцов, кладовщиков, подсобных рабочих, обнаруживая у них в квартирах, в их холодильниках или в мешках тот или иной вид сокрытого дефицита. И если их не будут рвать на части прямо на перекрестках, их будут судить, сажать и пришедших им на смену снова судить и снова сажать – толпа будет стоять на улицах, требуя новых расправ.

Пьяные мысли пугливы и скоры (я пытаюсь воспроизвести их скач замедленно и более внятно), дальше, однако, в их логике темное пятно. Не помню. А дальше опять помню. Прерывисто, как пунктир. Социальный ропот низов – страх в верхах – и (тут уже помню!) начнут забирать и сажать в тюрьмы (да, да, для равновесия) всяческое начальство, с которым кладовщики и продавцы в той или иной форме всегда делятся товаром. Тюрьма тоже как вариант равенства. Мол, забираем не только вас. (Мол, забираем и этих. Спокойно, товарищи. Спокойно... Снисходительная практика власти.) С этого ублажающего народ момента маховое колесо репрессий наберет полные обороты. Однако толпы людские с улиц уже не уйдут, они ненасыщаемы...

– Второй раз нам не выдержать, – тупо и с пьяным упорством повторял я, пихая коровью ногу под фанерный лист. (Уже в кровь исцарапав руки. То ли о фанеру. То ли о закраины мерзлого мяса. Суть не в том, насколько правдоподоб-

на нарисованная всполошившейся мыслью картина разверзания бездны, а в том, до какой степени эту мысль охватил испуг.)

Но ведь теперь все, точка! Я покончил с яростью толпы в самом зародыше – завтра некий прохожий человек обнаружит замороженную коровью ляжку и тут же рано поутру унесет ее к себе домой. (Тихо радуясь добыче.) Вот и все, уверял я себя, взывая к здравому смыслу. Взывая, в конце концов, к великолепному куску говядины, которую простой наш человек унесет домой, как только обнаружит. Однако пьяные мысли гибки. А вдруг простой наш человек в ту минуту не один, вдруг вокруг и возле нашедшего мясо окажутся и другие люди? А вдруг рано поутру коровью ногу и на ней печать гастронома обнаружит как раз пенсионер-правдолюбец?..

Уличные расправы начинаются во дворе и с малой крови. С разбитого носа, с разорванной щеки. Ядерная реакция в бомбе начинается (или не начинается) с одной лишней молекулы, дающей критическую массу. Снежная лавина начинается с того, что кашлянул проходящий лыжник; с того, что его подружка лыжница сбросила машинально со своей синей шапочки малую пригоршню снега. (Умещающуюся в ее ладошке.) Мысли пронеслись в минуту-две, при том что, охваченный испугом, я уже тогда понимал, что средоточие моего галлюцинированного и одновременно близкого к документальности страха необязательно вовне меня. Страх мог быть моим личным страхом. Он мог в любую минуту отработать

свое и, оставив во мне какой-то образ, испариться, уйти. (Но ведь не уходил.)

– Страх ищет себе метафору, – объяснял я (объяснял себе себя), волоча тяжеленную мерзлую ношу (я нет-нет и падал); и чем из большей моей глубины вырывался, волна за волной, страх, тем старательнее тащил я мороженую коровью ляжку.

Она была слишком тяжела, чтобы унести ее далеко, к тому же, пьяный, я шел нетвердо, и мысль, что ночные дежурящие милиционеры прихватят и станут выяснять, откуда пошатывающийся гражданин несет мясо, – такая мысль (уже вполне реальная) тоже заботила. Но была ночь, и сильно мелко. Снег валил. Ни милиционера и вообще ни души вокруг. Так что до улицы, до большой проезжей улицы с честным двусторонним движением я доволок, бросив мясо на самом виду, на запорошенной снегом обочине. (Ранний водитель подберет.) Непременно подберет, куда ему деться! – уверял себя я, когда уже шел без ноши, несколько протрезвевший, но все еще заплетаясь ногами.

Я обнаружил, что я развернулся – иду не домой. Моих в те дни в Москве не было, и чем возвращаться в пустоту квартиры (и, возможно, в продолжающиеся ночные страхи), разумеется, было лучше вернуться туда, где я гостил и где весь вечер пили. Ненасилие над собой. Ноги выбрали направление раньше, чем сознание.

Молодые люди частью разошлись, но трое-четверо их сидели за полночь, курили.

– Дороги не нашел, – сказал про меня один из них, посмеиваясь.

Другой (кто открыл мне дверь) добавил:

– Хорошо, что не замерз!..

Пройдя на кухню, я сел у стола и, отыскав, налил себе водки. На душе становилось скверно. Часть сознания, как ни пьяна и как ни напугана, иронизировала, наблюдая уже со стороны отважный ночной поступок: таскание гражданином по городу мороженой коровьей ноги. «Отечество в опасности», – мысленно повторял я себе, думая обрести иронию, но обретая все тот же страх и в придачу некую дряхлость и блеклость, сползшие, как шелуха, с этого страха. (Чувствуя себя постаревшим, усталым, уже сошедшим с круга. Такая минута.)

Я пил одну и другую стопку водки со злобным желанием себя добить: «Вот тебе! Вот тебе еще!..» – и ощущение вырвавшейся из-под спуда беды не покидало, и, в обход иронии, все еще была страшна та лавина, которая уже завтра загрохочет и покатится, начавшись, как с малого комка снега, с оставленного мной посреди проезжей улицы куска мяса – оттащить бы его подальше, оттащить и бросить, скажем, с берега в Москву-реку, в полынью, где впадает теплый ручей заводских отходов. (Где подымается пар над темным незамерзающим пятном воды и где плавают окруженные ледяной кромкой стойкие утки, единственные свидетели. Где мя-

со плюхнуло бы в воду – и нет его.)

Из кухни я прошел в дальнюю темную комнату их квартиры, там никого не было, и там, не раздеваясь, свалился в постель. (На кровати, как всегда, ни белья, ни подушки, матрац да пропахшее курувом одеяло.) Лежал. И полоска света под дверью. И приглушенные молодые голоса из той комнаты, где длилось их ночное бдение.

«Второй раз нам не выдержать», – повторил я.

– Ну-ну. Не страдай. – Она назвала меня по имени, я, видно, говорил вслух, бормотал. Знобило. Маринка сидела на кровати со мной рядом. Самая малорослая из них, простецкая, с привычкой чудовищно мазаться косметикой. Голос хриплый. Она не затевала никаких отношений: принесла еще одно одеяло, набросила на меня. Мужик перепил, бывает.

Сквозь снег смутно просматривалась впереди стоянка такси, разумеется, без единой машины. Через пустое пространство я видел их силуэты – мужчина и женщина в снегу в ожидании хоть какого-то транспорта. И возле них небольшой чемоданчик. Их силуэты, кажется, и навели на мысль – а как выгляжу я? (Возможно, с огромным мясом в руках, я все еще опасался свидетелей и расспросов.) Каков для них, для этой пары силуэт появившегося вдали человека: человека покачивающегося, чтобы удержать равновесие? И шатающегося под чем-то объемным, что человек тащит в руках?

(Через расстояние им не угадать, что я несу.)

Мужчина был с сумкой через плечо. Женщина с маленькой сумочкой. Их чемодан на снегу. Их тихие зимние фигуры, застывшие и упрощенные своей слишком понятной целью: ждать и ждать. Так они выглядели; в этом смысле я был богаче – я был в движении: движущийся, меняющийся силуэт.

Издали человек, уже сам по себе шаткий, поскользываясь на снегу и нет-нет взмахивая руками, представляет собой фигуру с несимметричным выпячиванием то рук, то ног. (Пляшущий человечек. Иероглиф.) Но тонкая с одной стороны и сильно утолщенная с другой мороженая коровья нога, которую этот человек, пошатываясь, несет то на правом плече, то на левом, а то и прижав к груди, еще более усиливает асимметрию и схожесть с иероглифом. Иероглиф страха, если не иероглиф боли. И косенькая штриховка падающего снега, если смотреть на человека издали. Белый фон.

Можно счесть и за иероглиф любви, у которой ведь тоже свои права на истолкование. Любви к ним ко всем. (Здесь опять же неопределенность. Хромота термина.)

Трудовая масса, вульгарная в наш век прежде всего из-за грубо потревоженного в ней социального инстинкта, готова плевать на интеллигента, как бы не делающего никакого дела, но потому-то любовь российского интеллигента к ним и прекрасна, и плодоносна. Любовь без взаимности. (И без расчета на взаимность.) И потому, как ни нелеп и как ни

смешон человек, несущий ночью и нет-нет роняющий мороженую коровью ногу, иероглиф этого несения и роняния не нелеп и вовсе не смешон. Под ногами проваливались снежные холмы, неправильная и такая прекрасная геометрия сугробов. Российскому интеллигенту никогда не донести эту коровью ногу до проруби с теплым ручьем заводских отходов. Ему ее не спрятать и не выбросить. Ему от нее не избавиться, как не могут люди избавиться в своей каждодневной жизни (ни даже в своих сновидениях) от чувства тоскливой собачьей вины.

Под тяжестью мороженой ноши я тогда оступился (меня повело вбок, к стене дома) – и увидел пьяного. Завалившись чуть набок, человек сидел в снегу. Струйка под задом, обычная у пьяниц на улице, была занесена снегом, но все же приметна. Он что-то бубнил. Я оступился еще раз и, сместившийся, оказался уже в шаге от него. Объятый все тем же космическим страхом и все той же любовью, я стал объяснять ему, как дорого время, так дорого, что даже помочь ему и оттащить его, бедолагу, до ближайшего дома, до теплого парадного, я никак не могу. Пьяный себе бубнил и мычал, а я отвечал ему: «Нет, нет. Не могу. Сейчас драгоценны даже минуты, потому что главное – предотвратить лавину. Второй раз нам не выдержать». Пьяный мычал свое.

Или вдруг слышно выговаривал: «Да-ай!» – вероятно, просил сигарету (мне же казалось, он упрекает меня). К этой

минуте я вполне выбился из сил, так что остановка; я свалился в снег с ним рядом, тяжело дышал. «Дай», – выговаривал пьяный, а я отвечал, сидя, как и он, в снегу: «...Ты должен понять. Ты замерзнешь – это не страшно. Я замерзну – не страшно. А вот если не остановить лавину...»

И вот: надо было опять идти. Тяжело подняв из наметенного сугроба мерзлую коровью палицу-ногу, ухнув, я вскидывал ее на плечо, брел дальше. Следующий привал был возле двух сварных гаражей: в образовавшемся там углу намело много свежего мягкого снега. Было там скользко, я упал и барахтался с холодной коровьей ногой в обнимку, то я ронял ее, то она меня.

В снегу я решил было сколько-то полежать, передохнуть, но ведь я не мог себе позволить заснуть и замерзнуть, не дотаскивав ноши. «Встаю. Встаю. Уже встаю...» – униженно оправдывался я; жалко, с готовностью отчитывался перед кем-то, строго наблюдавшим за мной со стороны.

НЕСЛУШАЮЩИЕ

И в соответствии с логикой победивших, те, кто набрал голосов больше, шумно перебираются в самые первые ряды и кресла зала, а зал, возбуждаясь от перемены, гудит. Собрание не кончается. Ораторы вновь сталкиваются у микрофона. К счастью, их идеи более пластичны и вытесняют одна другую не сшибаясь. Идеи медлительны. Идея может стоять над головами, над умами, как летнее облако над лесом, – долго. И чем ценнее и нужнее для людей внесенная тобой идея, тем в более видных рядах ты сидишь – ты и твои товарищи. Группа твоя тем самым передвигается значительно ближе к сцене, к президиуму. А при особо ценном предложении, исходящем от вас, и особо удачном голосовании группа захватывает и сам президиум, стремительно вскакивая из первых рядов и занимая места за столом с красным сукном, где микрофоны (строго по числу стульев в президиуме), а также обязательный старомодный высокий графин с водой. И с карандашом, чтобы постукивать им о графин, требуя внимания и желательно тишины.

Разумеется, людские судьбы повязаны с поражением; у лидера есть свита, его окружение, сподвижники, вся его живая аура должна теперь, после плохого голосования, переместиться назад (если они не перебежчики). Кресло впереди пустеет. Оставивший его, бывший большой человек, поднимя

голову, уходит, как значительны все еще его шаги! Выбравшись из ряда, он удаляется куда-то в тылы, в темноту зала (он, возможно, вообще покинет собрание, он раздавлен, поднятая голова горделива только на эту, на одну-единственную минуту выхода) – там и тут освобождаются поблизости кресла, его люди уходят в тень, а из тени им навстречу (к свету уже на полпути) движутся, посверкивая глазами, сбившиеся в стайку крепкие, неущербные люди, удачники.

Но не все же групповщина, есть и одиночки. Есть те, кто сами по себе. Освободившееся кресло – хороший шанс и для вольного стрелка. Быстрей! Бегом!.. он летит по проходу, чтобы первым успеть к месту, отвоеванному, быть может, самой природой ему и для него. Он ведь так верил в нынешнее время (и в Бога!). Те, кто честно спешит группой, негодуют на торопливого, но ведь такова суть вольного стрелка и, главное, такова суть места – занял, оно твое. Во всяком случае, до следующего голосования.

А уж если вольный усидит на занятом при голосовании, то место надолго (относительно, разумеется) становится его местом. Настолько его, что кресло уже можно за собой закрепить, бросив для виду и для знака на сиденье кресла плащ или оставив на сиденье свой портфель. Можно даже попросить (с глянцевитым холодком в голосе) соседей: «Занято. Мной занято. Предупредите, если кто сюда кинется...» – и если соседи из тех, кто в отношениях честен, а в стабильности заинтересован, можно сравнительно спокойно, пока кто-

то неглавный из президиума выступает, – да, да, можно позволить себе выйти на одну спокойную минуту и покурить.

В фойе приятно курить. Клетчато-шахматный огромный пол фойе дает простор и воздух, там и тут, пожалуйста, перламутровые пепельницы на столиках и бутылки с минеральной водой. Некоторым все равно, что пить, но иные – только боржоми, ничего другого не надо.

Вновь голосование. Скорее в зал. Уже подняты руки с белыми мандатами, значит, обошлись без табло: из президиума (ага!) поднимается полный мужчина, с ним вместе уходит, отходит, откатывается назад вся его поджарая команда, освобождая чуть не целый (ага!) второй ряд и часть третьего и еще половину четвертого ряда, это ж все замечательные места! – а выигравшие голосование немедленно поднимаются, чтоб занять; вольные (эти всегда начеку) тоже снялись с задних мест, позволяя себе неприличную торопливость.

Встречное движение и интерес, чтобы обойти, приводят в узких проходах зала к тихой коммунальщине, к столкновениям или к оттиранию плечом; обмен ироническими репликами, грубое словцо, смех. Человек вдруг опрощен. Он так мило несложен. Он как бы в обнимку со своей двойственной природой: самоутверждение дает ему посыл изнутри: не зарывай, мол, талант, грешно, – а власть манит его извне. Власть сзывает поклонников. Не только тех, грубиянов, что меряют всякую высь материальными благами, но и других, верных ей до гроба, с бледными лицами и с особен-

ной печатью в облике, которая только и дается людям с хорошо скрытой страстью повелевать. Власть своих отыщет. (И благородных. И мясников.)

Бок о бок с ними тысячи неотличимых, усредненно тщеславных, пробирающихся вперед во сне и наяву, то равнодушных, то цепляющихся за передние кресла пальцами так, что обламываются ногти. Иногда ведь и вовсе ничего не надо, только бы ощущать свою небольшую и скромную власть каждый день (хотя бы час один, хотя бы несколько минут, но каждый день). Чтобы иметь возможность на миг встать и оглянуться на сидящих сзади и, как ни короток тот миг, увидеть, как опускают глаза, а то и гнут шеи под твоим взглядом, так как не желают оказаться не уважающими тебя или не уважающими твое кресло. (Или не уважающими тот миг, на который ты привстал, продолжая заполнять кресло телом.) Но конечно же кто-то тебе крикнет из неопознаваемой полутьмы зала: «Сядьте! Сядьте! За вами не так уж хорошо видно!» – мужчина тоже может, но особенно женщины смелы, женский высокий голосок взвился, взлетел, вдруг крикнул: «...А не был ли ваш отец стекольщиком?!» – как водится, хамство сошло ей за смелость, обеспеченную темнотой в тылах зала и задиристостью. Мол, чего же ты, толстый, молчишь, если же привстал и не даешь нам видеть! (Если уж так случилось, что твой папаша не сумел заделать тебя прозрачным!..)

А-аа. Гу-уу. Гы-ыы, – вновь покатился собирательный

гул. И, стало быть, будет голосование. (Голосовать! Голосовать! – требует зал, накаляясь.) ЗА... ПРОТИВ... ВОЗДЕРЖАЛИСЬ... ВСЕГО... – и вновь к линейно светящемуся вверх табло с цифрами прикованы взгляды всех (и вытянутые шеи всех). Всех ли?.. Да, да, всех.

Если, конечно, не считать тех утомленных, что на самых плохоньких местах, в одном из последних рядов.

Там ведь тоже сидят люди, их всего два человека (иногда их трое) – эти люди внимательно слушают, однако мало что понимают. Они оба устали, глаза их слипаются. Они никому не хлопают, не аплодируют, но ведь они никому и не кричат, не топают ногами, прогоняя от микрофона. Они тихо сидят, и можно сказать, что сидение их бесконечно, потому что, когда кончается собрание здесь, они переходят в соседний зал, где тоже идет собрание – надо присутствовать: надо слушать и надо хотя бы немного вникать.

Они утомлены; они не высыпаются. Удастся ли им вырваться домой? – удастся, но редко, на час-другой. У них есть, здесь же в зале собрания, свой маленький начальник с красным пьяненьким лицом, и когда он откуда-то из средних рядов зала поворачивается к ним – это знак, это как красный круг светофора: стоп!.. (Стоп расслабленности – пора работать!) Они следят за его пьяненьким взглядом и на линии его взгляда видят выходящих из зала людей. Скупой жест пальцев, и они понимают: вот те двое. Да уже вста-

ли. Они не идут к примеченным ими людям, они как бы вяло плетутся за ними. Но уже не теряют из виду, двое за двумя. В фойе с огромным клетчато-шахматным полом, где там и тут стоят курящие люди и где на столах достаточно перламутровых пепельниц, они перехватывают тех двоих – пройдемте, пожалуйста! – показывая мельком свои потертые книжечки, если вдруг на лицах испуг и недоумение.

Они выводят двоих из подъезда, сажают в закрытый микроавтобус. Хлопнула дверца. Движения их просты, согласованы давностью – они с полуслова понимают друг друга, как с полувзгляда понимали в зале своего краснолицего начальника. В машине один из двоих (увозимых для выяснения неких подробностей) начинает вдруг говорить, возмущаться, даже что-то напористо требовать, но и тут они, профессионалы, спокойны, у них есть жесты и слова, которые уже отобраны практикой, которые на сквозном чувстве и точно попадают в самую десятку психосознания увозимых в закрытой машине: да ладно, мужик! Брось дергаться! – или так: да ладно тебе дергаться, не мальчик ведь! Ну что ты, ей-богу! – слова их так скупы, так выверены опытом и нешумны, и жесты их так спокойны (и так проста посадка шофера, и так ровно гудит мотор), что увозимые молчат, постепенно попритихнув и погасив всплеск возмущения в глубинах собственного то ли доверия, то ли фатализма.

За городом, едва свернув в лес, они быстро выводят из машины и приканчивают свои жертвы, двое – двоих. Они

только на мгновение помедлили и задержались, дав проехать по шоссе (шоссе видно сквозь деревья) машине «Скорой помощи»; свидетели ни к чему, тем более с медиками надо держать ухо востро. (Проехали мимо. Пора.) Они приканчивают жертвы, одного и второго, ударами больших ножей, которые по виду напоминают короткий меч римлянина былых времен. Нож остер и тяжел, в опытных руках безотказен. Кроме того, в рукояти ножа вмонтирован мощный аккумулятор, собравший ток, которого хватит, чтобы уложить быка. Удар! Рука сама собой (невольно при ударе) стискивает рукоять, а этого достаточно, чтобы произошел контакт и вместе с ним электрический разряд через лезвие. Конечно, некоторая избыточность, но на всякий случай голова раскраивается и обычным ударом; ямы тут есть, лес и ямы, и усталые люди быстро закапывают убитых. Никто, разумеется, не узнает, пропали так пропали, и поэтому особенно опасны нынешние медики, которые выслеживают свежие трупы для своих целей (иной раз даже выкапывают, чтобы использовать для пересадок почки, сердце, печень, теплую кожу, что угодно. Внутренние органы человека еще несколько часов после смерти живут сами по себе).

Конечно, медики производят расчленение и изъятие органов противозаконно и потому сами молчат, как рыбы, а все же возможны у них накладки, случайности, информация может просеяться, если не просочиться. Так что оглянись лишний раз. Так велят. Взять у убитых можно мелочь из кар-

манов (на голосование никто больших денег с собой не берет). Одежда у них хороша, но одежду забирать категорически запрещено, может быть узнана на улице, опознана. Поэтому только сигареты да карманная мелочишка – они выгребли жалкие рубли, червонцы; часы нельзя. Да, можно закапывать.

Обратный путь. Они торопятся вновь на собрание. В их работе нет конца. (Как и в работе заседающих.) Но все-таки что-то сделали, и некоторая завершенность в деле, пусть даже не окончательная, располагает их обоих к общению, к выходу чувства наружу – им хочется негромко поговорить меж собой.

– Что у тебя с жильем? – спрашивает один. – Дали?

– Хрен там дадут.

Первый то ли вздохнул, то ли тихо зевнул:

– Да-а...

И вновь смолкли. Они не говоруны, да ведь и говорить им особенно не о чем. Работая вместе, они и без того по крупницам знают все о жизни друг друга. Оба бедны, много трудностей. Один из них давно уже подал заявление на улучшение жилья: он живет со своей семьей в коммуналке, каждый вечер с соседями, собачится с ними, ну а как при скудности жизни избежишь ругни?..

Другой – тоже семейный, квартира у него все же отдельная, но маленькая и притом на последнем этаже: протекает

крыша.

– Как дождь на улице, так и у меня дождь, – кривится он в улыбке.

Он объясняет про свою тесноту: теперь их в квартире живет не семь, а восемь человек. У старшего сына дочка родилась, Галька, совсем беленькая, а назвали Галочкой... В прошлый день шел дождь, в люльку налило.

– Прямо на маленькую?

– Ну да. Она рот разевает. Думает, каплет ей сладкое чего. А оно капает чуть выше, в лобик. Мимо капает. Она разевала, разевала – да как заорет...

– Понимает!

Они смолкли. Сидят молча. Приехали. Машина встает у парадного подъезда большого здания. Но, как выясняется, нужно в этот раздерганный час не сюда. Шофер кричит им: эй, вы! К рации вас зовут!..

Оба вылезли из кузова, подходят к кабине; некоторое время оба нерешительно смотрят на шофера. «Ну, давай смелей!» – поторапливает шофер. Он нарочито небрежно трясет трубкой: рация – это как телефон, обычный телефон, и нечего ее пугаться. Один из них снимает свою плохонькую пролетарскую шляпенку, приставил ухо к трубке. Слушает. Потом сплевывает, тыфу ты! – и говорит второму:

– В вестибюль велят. На Кедровой улице...

Они вновь залезают в кузов машины, вновь едут. Через десять минут они уже там, на Кедровой, где длится собрание.

В вестибюле – это означает не входить в шумный, полный людьми зал и не сидеть, томясь, в последних рядах, а сесть сразу где-нибудь возле гардероба, притом близко ко входу. Обычно тут зеркала, человек сидит и смотрит на самого себя, что тоже, конечно, неинтересно. Но можно подремать. Жизнь идет. Один из них ушел поискать привилегированный буфет – в том направлении, где шум и гул голосов (и вдруг грохочущий обвал аплодисментов, чья-то речь особенно удалась). Он возвращается с двумя бутылками томатного сока.

– Ишь хлопают! Ладони им не жаль! – говорит он и добавляет: – А я вчера пиво пил.

– Жигулевское?

– Хрен там. Разве найдешь... В магазинах все хуже и хуже. Какой-то ржавой воды налили – и то спасибо.

Они бедны. Это так. И никакого улучшения или продвижения в жизни для них (и, значит, для их семей) не будет, да они продвижения и не ждут. Не ждут, вот и все. Без нытья. Возможно, в самой глубинке своей души они надеются, но надеются неопределенно, как то огромное большинство людей, которые упрямо почему-то хранят старинную мысль, что им всем получает хотя бы к концу жизни. (Может ведь и привалить счастье.)

– Сын старший чего-то приболел... – начинает один из них, но второй уже не слушает.

– Посплю малость.

Он свешивает голову себе на колени, со стороны посмотреть, вроде бы не спит, задумался, но, конечно, он дремлет. Второй сторожит его сон. Надо уметь отключить себя, не то долго не протянешь, падать на улицах начнешь. Шарф у склонившего голову мало-помалу выбился, висит концами вниз до самого пола. Тот, который не спит, заметил; он подымает концы шарфа и осторожно подтыкает их спящему товарищу в карманы. Он заботлив, пусть спящий уловит свою минуту сна. Сам он сидит прямо. Смотрит, вперяясь в шумливых людей спокойным невидящим взглядом.

Они оба не злы и, уж конечно, не загадочны: они обыкновенны. Нехитрые умом, они честны. Они честно выполняют порученное им, а большего, чем выполнять, увы, не умеют. Они люди, каких много – человек делает свое дело именно потому, что его такому делу научили, вернее, к такому делу приставили, сам же он выбрать не умел, ни раньше молодым, ни теперь, когда уже придавил возраст. Впалые щеки. Всегдашний вестибюль. Один из них, правда, иногда мечтает, но мечты его так же нешумны, как и он сам, – и совсем просты – он, к примеру, мечтает никуда не ходить и у себя дома на кухне чистить крупную картошку (посматривая одновременно телевизор), и чтобы жена хвалила: мол, вот ведь как помог ей, когда у нее сегодня столько забот, брось туда еще морковки и, как закипит, лавровый лист, суп будет; поедим.

В вестибюле означилось движение – спрашивают плащи,

бросив гардеробщику свой звонкий, с костяшечным стуком, номерок, и уходят. Гневные, распаренные идут люди из зала; едва набросив плащ или дорогую куртку, торопятся к выходу. Но стойкое большинство осталось. Из распахнутых дверей зала в вестибюль доносится всеобщее возбуждение. Широкий фронт накатывающей волны звуков – шууу, гууу – и прорывающиеся знакомые вскрики: «Слова! Дайте слова!..»

Надвигается голосование. В соответствии с ним (уже ожидаемо) произойдет очередная перемена: захлопают освобожденные сиденья кресел, затопают ноги, и люди устремятся кто вперед, кто назад. (А кто-то и поперек зала, особый такой маневр, когда человек продвигается только вдоль своего же ряда, ничего вроде бы не меняя и оставаясь на том же неконкурентном расстоянии от стола президиума, где микрофоны и красное пятно скатерти. Он идет без цели, просто так – известный срединный характер, он самим движением мало-помалу искушает (и одновременно страхует) себя, готовый к умеренному броску и перемене места на лучшее – как, впрочем, и к стремительному отступлению.)

Второй уже подремал немного, зевнул, приоткрыл глаза – они вполголоса разговаривают о будущем лете, об отпуске, таком коротком, с детьми ехать никакого отдыха, а как их оставишь? а кто посидит летом с внучкой?.. Молчат. Нешумные, они становятся совсем тихи: это ожидание. Вот-вот их минута.

В вестибюле вновь возбужденные голоса, вновь появились

люди (после голосования? уже?..). Оба продолжают сидеть. Они ничем не приметны. Они сидят рядом, совсем одинаковые, первый в плохонькой шляпенке, а тот, кто дремал, в кепке.

Вот и краснолицый. Он появился. Он ведет глазами пеструю группу людей – оба прослеживают за его взглядом: прочитывают. Этот? Или эта?.. Ах, так – эти двое! (И показ прицеленным взглядом, и прочтение его просты, примитивны. Немного внимания, вот и все.)

Они следуют чуть впереди намеченных людей и только на самом выходе – правило вестибюльной засады, технология – один из нешумных берет под локоть мужчину, а другой женщину. Их руки так просто делают свое, так неотвратимо спокойно и твердо, что те даже не вздрагивают, – женщина, с ее повышенной чуткостью, отпущенной ей природой, не вскрикнула, не ойкнула, не повернула головы: так сразу поняла. Мужчина было напрягся, мышцы стали твердеть, но рука, его державшая, тут же и отпустила. На мгновение раньше, чем мужчина мог бы инстинктивно дернуться и, возможно, рвануться, рука отпустила, похлопала его легонько по рукаву на уровне локтя и взбугрившейся мышцы – мол, что ты? зачем?.. – и, похлопав, вновь его взяла. Так они прошли до закрытой серой машины, до коробки микроавтобуса, сели.

Ничего не было сказано, и шофер ничего не спросил. Машина тронулась. Значительность предстоящего ведет к известной немоте. Взятый мужчина все же заговорил (при-

сутствие здесь женщины сделало его сколько-то ответственным), нарочито громко и с вызовом он поинтересовался, что это, мол, мы вместе едем и куда? – на что последовал вздох того, кто в кепке, усталая улыбка и негромкие слова: да ладно тебе, мужик, не дергайся, веди себя достойно... и ровный, ровный шум мотора.

Оба сидят, каждый напротив своей жертвы. У первого совсем заспанные глаза, вчера ночью едва не померла его соседка, сердечница, приступ за приступом, а ее муж, старый пенек, весь в радикулите, а телефон, конечно, не работал (наш сервис!), так что пришлось побегать. Вызывал лихую неотложку в два ночи, потом в четыре, потом еще в половине шестого. Так и не поспал. Он и всегда-то молчалив, а сегодня совсем бессловесен, так устал. Он было свешивает голову, но второй начеку, касается рукой его колена: нельзя. Сейчас и пяти минут нет, чтобы смежить глаза, вот что значит предупредительное касание. (И минуты не улучшить, потерпи.)

В лесу, едва свернув с шоссе под кроны деревьев, они высаживают мужчину и женщину возле ям и приканчивают их двумя короткими ударами своих тяжелых ножей.

Ножи они обычно носят под легоньким пальто, в чехлах. Чехлы нельзя назвать ножнами, они из кожзаменителя, простой формы и вместительные, так что нож и вся рукоять, по сути, болтаются в глубине мешка, и при необходимости нож надо рукой там нащупывать. Но опыт упрощает дело.

Убитые лежат в нескольких шагах друг от друга, мужчина

головой к лесу, она – к дороге. Один из нешумных напоминает своему товарищу, что, мол, убитых не разъяли, а ведь таково правило (а правила не отменишь). Чтобы кому-то было спокойнее. И чтобы, скажем, медики не пытались искать почку или селезенку для своих тайных пересадок. Тот кивает – да. Не перекуривая и продолжая работу, они раздевают обоих догола, иначе не разъять. Те лежат голые. Женщине лет тридцать пять, в самом соку, тело крепкое и в бархатном загаре, груди торчком. Один из них подходит к женщине ближе, спускает брюки и приникает к ней. Ведь ее почки и печень и все прочее еще живое, настолько живое, что медики и через пять с лишним часов готовы это забрать и заставить жить в другом организме (жаль же, вот так сразу и в землю, в сырую-то землю), – поимев ее, минут через четыре-пять он подымается. Его дыхание сбито, тяжело.

– Сладкая. Не хочешь? – говорит он второму.

– Не.

Они берутся за ножи и быстро, уверенно рубят на куски обоих лежащих. Какие-то куски крупны, но нож достаточно тяжел, остер, и, еще раз оглядев, они расчлениют крупное на более мелкое. Они сбрасывают все в яму, дело заканчивается, а шофер стоит к ним спиной шагах в двадцати, курит и смотрит через деревья на все тот же заметный отсюда отрезок шоссе.

ТАМ БЫЛА ПАРА...

Там была пара, его имени не помню, а ее звали Маша, оба лет двадцати. «Мы уж год трахаемся! ну что ты!.. Мы взрослые люди!» – говорила Маша кому-то по телефону в долгом разговоре. Оба были заметны, выделяясь прежде всего влюбленностью друг в друга. А потом он покончил с собой. (Зачем же еще подчеркнутое ощущение лет, если не для того, чтобы, означив возраст – возраст забыть. Освобожденность таким путем. Но он умер, такой молодой...) Помню, мы с Машей закурили, а он, отложив сигарету в сторону, вертел в руках только что приобретенную им у кого-то (вот цену помню!) за сорок рублей «По ту сторону добра и зла» – ксерокопию очень старого издания на русском. Он все вертел ее в руках: мол, так много слышал о книге, а вот и купил. А я попросил книгу на день-два, и он тут же мне ее дал. Он так и не прочитал, ибо как раз в последующие два или три дня покончил с собой, наглотавшись каких-то таблеток и оставив вполне ясную записку. Еще два дня он пролежал где-то у себя дома, только потом позвонили сюда. Молодых людей его смерть, по моим понятиям, не потрясла – они согласно и несуетливо сказали друг другу:

– Он же был сдвинутый! Ну, ясно!.. а что? Не замечали?

И сразу, точь-в-точь как это делается и в нашем поколении, они припомнили немало случаев, в которых погибший

был странен и в которых уже загодя чувствовалось некое его отклонение. Тем самым успокаивали самих себя, нормальных, как это делают и среди нас, – только у нас нет таких емких выражений, как «был сдвинутый» или «поехала крыша», у нас погрустнеют и говорят так: «Он же был шизик!.. Ты что, не знал?» – после чего с некоторой степенью достоверности назовут, пожалуй, больницу, где погибший раз в год подлечивался.

Сказать честно, я тоже не был потрясен его гибелью; возможно, потому, что знал его совсем мало, но возможно, по причине того же вдруг возникшего холодка в самозащищающейся душе, что и у них. Меня царапнуло прежде всего то, что распалась такая красивая пара. Они очень подходили друг другу, особенно когда гремела их музыка и танцевали.

Девочка Маша – так я про себя ее звал – тоже не была потрясена. В тот вечер, когда стало известно о его гибели, она, конечно, плакала, даже выпила залпом что-то крепкое, но чуть позже слушала модную музыкальную группу и спорила, выкрикивая яростные слова в защиту этого ансамбля; спорила она страстно, забыв все на свете и размахивая маленькой авторучкой, зажатой в кулачок, как увлеченная учительница младших классов.

Его жизнь кончилась, тем самым вполне совпав с его юностью, и в этом смысле он ушел из юности, а я, куда более старший, пришел и теперь сидел в их юности, откинувшись

на стуле и слушая громкозвучную музыку. Его уже здесь не было. Девочка Маша, и я, и все другие вокруг нас пили из чашек или из стаканов, из которых пил прежде и он. Обычно он пил (немного водки или красное вино) из прозрачного тонкого стакана, из тех дешевых, покупаемых какой-нибудь столовой сотнями в расчете на бой, и каждый раз, когда мне в общей путанице посуды попадалась не чашка, а такой стакан, я его тискал и все крутил в руках, словно проверял чей.

Под окнами, а дело зимой, один из наших молодых людей, надев восточный халат прямо на голое тело, ездил на велосипеде кругами неподалеку от дома под падающим мягким снегом. Прохожие оглядывались на него, подчас свирепели, что нашей молодежи, скучившейся и наблюдавшей из окна, доставляло особую радость возрастного (и отчасти группового) вызова всем и вся. «Колька-аа! Никола-аа-ай! Хва-аа-тит!.. » – кричали они ему. Собирали с подоконника снег и, целя в велосипедиста в ярко-красном алма-атинском халате, попадали снежками в прохожих. И кто-то говорил самому себе и другим тоже, – а из окна валил морозный воздух: «Хватит. Врубай музычку! Да закройте окно. Мужика простудите». И, конечно, «мужик» – это был я, сидевший несколько заторможенно в разбитом их кресле, уставший к вечеру и сидевший тихо, однако незаметно для себя сломавший стакан, еще и порезавший руку. Не знаю, как это вышло. Кажется, испугался, что утрачу этот возврат в их юность, вглядывался в лица (молодые лица всегда красивы),

в их тонкие руки, в девичьи брови или молодые усы парней, и от ощущения, что это надо видеть, слышать, вбирать, иначе пропадешь, от такой вот, самому мне несколько неожиданной, жажды биологического продления жизни возникло что-то вроде отмежевания от своей судьбы, цеплянье за их зеленость, оклик или зов оттуда, и... хр-руп, сжал стакан, обычный и тонкостенный стакан, быть может, его стакан. Сломав, поранил ладонь и пальцы тоже, притом сильнее, чем показалось в первый миг. Капало и капало, текло, платка не хватило, и теперь капало на пол меж спешно расставленных моих коленей, – и кто-то из них сказал: «Смотри-ка на мужика. Ого?!»

Быть с ними не полезно, если думать о собственном теле, о здоровье. Весь следующий день в голове тяжесть и тупость; и поясницу ломит. Но кислицу дня вновь сменяют надвигающиеся вечерние часы. И вновь начинает манить, звать, и каждый раз это кажется боольшим, чем обычная притягательность молодых разговоров и выпивки на ночь глядя. Квартира (от какого-то родственника), оказавшаяся в полном их распоряжении, все три комнаты и кухонька, прокурена донельзя, до прогорклости, до невозможности, так что сидеть тут долгий вечер и мало-помалу за полночь – это надо быть сильно пьяным или... молодым. Но душа там мягчеет, они добры, эти мальчики и девочки, как я их про себя называю, их мысли свежи, их слова неожиданны.

«Мужик» – так они звали меня, что перешло ко мне от од-

ного старика, который ходил к ним прежде меня и который когда-то (во время войны) был, как говорили, профессиональным разведчиком. Старый шпион все еще трусил. Крепко выпив (а портвейн у них в квартире был всегда), он забывал, кто есть кто. Это доставляло старику большое мучение. Ему мерещилась опасность. Его лицо от натуги (от усилий понять) бороздили морщины. Наполовину глухой, выставляя вперед правое ухо и внимательно прислушиваясь к щебету молодых, он пытался сообразить – среди кого он и с кем.

Он жил неподалеку; без родных; томился в четырех стенах – и приходил сюда. Наконец его взяла к себе некая богомольная старушка, и он перебрался в дальнее Подмосковье. Кто-то из молодых ездил туда и даже старушку навестил (и будто бы выпросил у нее небольшую, совсем не дешевую икону). Но кажется, они все это присочинили: они попросту проморгали, как и каким образом старик исчез. Было лето, а они все разъехались.

– А видно, матерый был! А как он портвейн пил в свои восемьдесят! – первое время они нет-нет и затевали вспоминать старика; набор выдумок, переживших человека.

Так что, если о месте, то, пожалуй, я зря мучился – мол, живу юность погибшего (от таблеток) молодого человека, дышу его воздухом. На деле же я занимал возрастную нишу ослабевшего старика с огромной головой и аккуратной седой бородой (как они всем, и мне в том числе, этого старого

шпиона описывали); возрастную нишу человека, греющегося возле молодости.

Слушая шумный ансамбль, они могут заниматься чем угодно, некоторые готовятся к семинару по физике или просто играют в карты (в дурака или в иные простенько блатные игры, преферанс у них не в чести) – играют себе и играют часами. И говорят. А музыка ревет:

Ты спала с мерзким Курочкиным,
ты-ыыыы спала с боксером-пьянчугой,
ты-ыыы спала со старикашкой-вахтером,
но,
но-оооо,
но-ооо я хочу быть с тобой, быть с тобой,
быть с тобой...

(то есть все равно хочу быть с тобой, и ничего тут мне не поделать и не придумать; уже и не сама замечательная песня – пародийное ее исполнение).

Они уже были – без. И как легко стали они внеобщественны (в старом смысле слова), с неожиданным удовольствием ощутив готовность своего «я» к отношению с небом. Добро и зло – это ведь как лабиринт, но скорее всего в лабиринте ты (человек) не запутаешься, а попросту устанешь идти и махнешь рукой: хватит!.. махнешь обеими руками (тут Сашук, один из самых умных, улыбнулся, подверстывая вдруг под-

вернувшийся образ), взмахнешь и... как птица взлетишь и сделаешь круг и еще круг, видя уже сверху все многообразие комнат и переходов. Ощущение полета столь ново и содержательно само по себе, что ты (и тут тоже как птица) уже не хочешь косвенной последовательности запутанных комнат. Устал? Стоп, стоп! Дело не в усталости. Высокий звук (отзвук) христианского отчаяния и требы, но не тупик. Но и когда улетаешь, все же не унесешь (и не удержишь в памяти) этот великий план человеческого многовекового опыта...

Слава богу, что у нас есть крылья и мы можем взлететь, мы как птицы, говорил Саша, Сашук, один из них.

Как бы меня и во внешнем тупик на взлет, они вскочили с мест (разговор побоку), тут же врубив музыку, как всегда громкую. Отплясывали, курили, то делали полумрак, то включали свет, отыскивая нужную магнитофонную кассету, я же продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. Музыка не гремела, стала вкрадчива, нежна. Танцующие раз-другой задели мои ноги. В старом их кресле торчали две пружины, так что приходилось к ним приспосабливаться, и я это уже умел, имел опыт. Но, когда задевали по ногам и я сдвигался, пружины, перемещаясь, тотчас выстреливали и жестко о себе напоминали, после чего вновь приходилось елозить задом и смещаться (и пока я приспосабливался к пружинам, пружины приспосабливались ко мне).

Мы можем взлететь над лабиринтом добра и зла, мы как птицы, но мы не можем его осмыслить и за краткое наше вре-

мя постичь, говорил умный Сашук. И потому – надо верить. Сейчас он танцевал, весь изгибаясь, а молодая женщина, повторяя своим телом его изгибы, льнула к нему и гнулась еще сильнее, самозабвеннее, чем он. Чувствовался поздний час; клонило в сон. Я перебирал в памяти их слова, их мысли и тихо завидовал.

Завидовал; из себя же ничего, кроме осторожной иронии, извлечь не мог.

Добро и зло – как две выскочившие и мешающие пружины старого кресла. Я повторял столь кружным путем прошедшие слова. Благоденствие нечестивцев и испытание праведных – но почему? почему?.. То есть испытывают именно праведных, не доверяя им, и есть ли в этом лишь известная формула очищения человека страданием?..

Определений добра и зла, как и способов размежевания, нащупываний границы меж ними, было, надо думать, бесчисленное множество: как, скажем, лабиринт у этого умного юноши. Или хотя бы как пружины в старом кресле, которые мешают сидеть. Но что, если в ту же сонливую и упрощенную минуту в нас и впрямь происходит некое вечное, но нам неслышное и недвижимое сражение? (Как не слышно и не видно нам, к примеру, движение лейкоцитов нашей крови.)

Борьба идет, а мы не ощущаем ее и не чувствуем, какое великолепие! – подумал я в ночном восторге.

Шахматная доска с фигурами давно расставлена, партия идет который век, а мы ее не видим. И что, если предводи-

теля добрых сил во мне (и во всяком другом человеке тоже), играющем белыми, назвать... но ведь и неназванный, он воюет, ходит своими белыми пешками и белыми фигурами, разрушает хитроумные комбинации хвостатого противника, завершая свои фланговые атаки и контратаки, пока я тут сплю. Да, я сплю. А он не спит. Он за меня, и ничего нет лучше этой мысли.

А я сплю. Что, если я хочу спать, но не свалившись в кровать спать и чтоб до самого утра и до галочьего за окном крика, а так, как сейчас, – сидя и вытянув ноги, и чтобы в старом кресле в углу и другим не в тягость, прикрыв глаза, когда рядом гудит тяжелый металл вокально-инструментального ансамбля и под этот металл (плюс пронзительный и щемящий женский голос – Маша?) танцует, гнется, льнет, прыгает, извивается, скачет и никак не может насытиться жизнью чья-то молодость?

Случалось, разумеется, видеть по телевидению, как поутру бежит здоровья ради по специальному тренажеру человек в своей красиво обставленной квартире. Бежит он быстро. Делает бег, избавляясь от гиподинамии. Какой-нибудь финн или норвег. Бежит и бежит на одном месте, а тренажер, легко движущееся полотно тренажера так и проскальзывает под его крепкими ногами, – представим себе, что бежит он вечно, бежит всегда, бежит каждый час и каждую минуту этот хорошо видный на экране круглолицый финн или узколицый норвег, и полотно тренажера скользит, летит под ним

тысячелетие за тысячелетием. Это и есть трудолюбивый ангел или даже Бог, сражающийся с миром зла и в нас и за нас, – в то время как мы можем этого и не знать. Частицами тренажерского полотна мы зная мелькаем и мелькаем под его ногами, поколение за поколением, как шаг за шагом.

Я сидел в старом их кресле и, видно, уже сильно дремал, клевал носом, – время шло к ночи. Они поставили мне на колени пустую консервную банку под пепел, так что в двух-трех шагах от дремлющего танцевали молодые женщины, хорошенькие, милые, лет двадцати, стряхивали столбики пепла своих сигарет в пустую банку, улыбаясь и получая удовольствие от этой и впрямь комической сцены. Я себе дремал, банка себе стояла на моих коленях. Им было проще и удобнее не бежать с сигаретой к пепельнице на столе или подоконнике. Можно было продолжать танцевать и курить, положив руки на плечи парней в полумраке, и нет-нет принагнуться и стряхнуть пепел в банку; никакой злой шутки, просто молодость и милое дурачество.

Лабиринт, через путаницу комнат и переходов которого все равно никому из них не выбраться (но успеть все же почувствовать, что есть еще пространство третьего измерения, есть объем и воздух, и есть птица, которая взлетела над – и которой далось-таки если не запомнить, то все же глянуть на всю эту путаницу на миг сверху). А тот их мальчик, молодой человек, наглотавшийся таблеток и оставивший ясную

записку на столе возле кровати, был уже далеко. Его сожгли. Они пошли к нему в колумбарий, в тот нескончаемый лабиринт человеческого пепла, который в свой черед запутан (обогащен) дополнительным лабиринтом небольших плит на стенах, с ладонь величиной, на которых так мелки фотографии с датами рождения и смерти; лабиринт лиц, которых уже с нами нет и из которых тоже уже не выбраться, не осилить и не упомнить, а только взлететь над.

Олежка, единственный из них экстремист, молчаливый и полный ярости, которую он хорошо умел держать под спудом. Но которая вдруг прорывалась, и тогда он хотел напустить, науськать на умничающих интеллигентов изнуренную толпу. Он весь темнел и шел пятнами, когда касались темы. Он говорил: «Эти высоколобые...» – или: «Эти, дурачащие народ...» – и хотел, разумеется, чтобы умников прибрали к рукам и чтобы тем самым люди, человечество было выровнено. И чтобы никакого дальнейшего расслоения. Все мы должны быть более или менее одинаковы. И быть счастливы или несчастливы – но быть одинаковы и вместе.

Он был некрасив, в оспинках, припухшие щеки, но молодые женщины его любили. Вот что у Олежки было красиво – глаза. И я думал – ну зачем с такими мыслями и с такой притаенной готовностью к укусу такие глаза?.. Или так думал: озленный мальчик, но зато глаза у него. Хотя бы глаза.

На манер ли нашей Гражданской войны, или как в трид-

цать седьмом, или хотя бы путем эмиграции интеллигенция должна подравниваться под народ, да, да, надо ее подравнивать, периодически тем самым от нее избавляться, – он любил сдержанно-энергичное слово. Хотя бы путем эмиграции.

– Но, Олежка. Все это уже сто раз было, – сказал я ему. И так получилось в ту минуту, что магнитофон попал на свою паузу или на перемотку, так что сказались мои слова в полной тишине и весомо. Все это уже было.

– Было, – кивнул он. И с этой минуты, кажется, меня ненавидел. Посмеивался, когда я приходил. И все иронизировал. Говорил, что меня надо непременно и принудительно заставить копать длинную канаву в восточном направлении, пока я не докопаю до китайской стены. А когда я докопаю, китайцы научат (это уже, конечно, их проблема, он не смеет им подсказывать) – научат копать канаву дальше. Так что с копанием у меня даже на день не получится перерыва. Он язвил. Он покусывал. Он меня поддевал. Он был мальчик. Обыкновенный мальчик. Я грустнел, застигнутый повторением. Я ведь мог предвидеть этого мальчика. Я, кажется, думал, что мыслей выровнять человечество (мыслей хотя бы и в чистом виде) уже нет. Я думал, были. Всадники гражданской войны ускакали в далекую белую пыль, передвигаясь все дальше и дальше. Скрылись – думалось, их уже нет, а они, хотя бы и за линией горизонта, ни на минуту не прекратили своей скачки и, двигаясь на рысях, торопясь, обогнули, как Магеллан, землю и теперь появились с другой стороны,

со стороны юных, появились в пыльных шлемах и, не слезая с коней, сказали:

– Вот и мы.

Вспомнил в юности теплый, немного душный вечер. Лето. Костер у реки. И... вдруг утопленник. Бородатый старик лежит в подштанниках на берегу реки, на груди крестик. Люди стоят. Люди толпятся, разглядывают, и мы вдвоем – она и я – тоже хотим протиснуться, и я не выпускаю ее руку, тяну за собой, лезу сквозь людей. И тут кто-то дает мне по башке. Толкает меня. И других тоже толкает, отпихивает: «Ну-ка убирайтесь! ну-ка!.. нечч-чего тут смотреть!» – он толкает, гонит нас, как милиционер. Не знаю, кем он был. Во многих мужчинах просыпается милиционер в минуты возбуждения малой толпы (большая толпа – совсем другая тайна) – просыпается властность, тем более если возбуждение толпы так или иначе связано с человеческой гибелью. И мы ушли в сторону. И я и она. Все отошли. Мы так сразу и легко подчинились.

Соседствующий кусок юности – я, студент университета, приехал в поселок, а там умерла моя двоюродная или даже троюродная тетка, а я пришел (кто-то сказал: пойди! пойди!..) в ее дом и по молодости слонялся там, не знал, что делать. В избе было темно и прохладно. Двое мужиков сбивали большой стол. Вокруг хлопотали, варили мясо, заботились о

поминках.

Слоняясь, я видел тихие поборы. Суть их проста: когда человек умер, в его дом или в избу набивается разного народу, и непременно найдутся люди, старые бабки, почти ритуальные воровки, которые обязательно прихватят в общей суматохе вещь, чаще всего из одежды покойника или покойницы. Дом стоит в эти горестные часы незащищенный, родные, конечно, не помнят или не уследят. (А покойница тоже обойдется на том свете ангельскими заботами. И уж, конечно, одежонки своей теплой, с узорами, не хватится и нам ее не сочтет.)

Тетка лежала на высокой лавке, и как раз с нее сняли кофту, теплую кофту далеких тех времен, когда одежда была просто одежда, кажется, и без названия, но с четкой функциональной направленностью: на зиму, на осень, на лето. Вероятно, тетку переодевали, стали обряжать, потому что всех, кто мужчины, выгнали, и вот уходя-то, поторапливаемый, я вдруг прихватил ее кофту. Так получилось.

Моя рука тоже вдруг взяла, я так и вышел держа, пронес в другую комнату и только тут ощутил, что кофта – теплая. Она была теплой ее теплотой. Вдруг осознав, что я забрал вещь и что это ведь стыдно, я потерялся и ничего лучше не придумал: накинул на плечи, повязав рукава у горла (как шарф). Примечательно, что я не взял, скажем, икону (а там были по крайней мере две великолепные иконы), ни ее молитвенник, ни старое Евангелие. Я ведь не вспомнил о чело-

веке, которым была моя тетка. Я только и смог по-старинному ритуально взять (хорошо, хоть этого не утратил), на уровне туземца прихватить ее вещь; растаскивание как вид памяти и продолжающейся жизни умершего, – и теперь опять слонялся без занятий в сених и у крыльца, входил, и выходил, и ощутил наконец холод на спине, на плечах, где прижалась кофта. Возможно, поступок уже тяготил (ритуальность, сработав, испарилась?). Я повесил кофту тут же в сених на старинный большой крючок: кофта была не холодная, уже с моим теплом.

Вьюга. Ветер мел под ногами снег... Я думаю о недостаточно реализовавшейся моей юности, о тетке и о некоей духовности, которая в те далекие дни могла возникнуть в дополнение к моему «я», но не возникла. Развилка тропы. Ее замело снегом – снегом первой той московской зимы. Затем занесло снегом второй московской зимы. Затем снегом третьей зимы, и так каждый год заносило снегом. Я сокрушаюсь – мол, был же божий шанс. Был. Не истерика, не скорбь, но думать об этом мне горестно. Конечно, был. Возможно, в эту минуту я преувеличиваю свое огорчение, так как огорчен я был, когда сидел у них в углу в старом кресле. Когда слушал их громкую музыку и когда завидовал их юности, а потом напился, забылся, полудремал, и отодвинутое забытьем огорчение нагнало меня позже. Вот только теперь нагнало, и я его переживаю.

Я чувствую себя в них, но я не пытаюсь понять себя через них (слава богу, наконец мне это удалось!) – дышу их воздухом, сижу, ворую частички их бытия, в то время как они играют в карты или млеют в танце. Гремит их музыка. Ощущение выпитого смыкается с ощущением долгой дороги и краткого привала на ней. Разновидность самоутешения. Кажется, что времени и возраста нет, забот нет; только дорога.

Тонкостенный стакан молодого человека, наглотавшегося таблеток. (И стопка-стаканчик старого шпиона. И кофта умершей родственницы.) Вещизм?.. След, который не остался, хотя и остался. И равнодушные стаканы *красою вечною сиять*. Люди ушли, из их вещей пьют другие – небрежность замысла? или как раз напротив – сам замысел?.. Или даже помимо замысла, – пей, если стакан остался.

Был час ночи, когда я ушел от них, – вышел и стоял очень пьяный на лестничной клетке, решаясь и отчасти не решаясь спуститься по лестнице по причине плохо слушающихся ног. А Олежка вышел следом, непонятно зачем; стоял сзади меня. Он и я, только двое.

Покачиваясь, я боялся, как боятся все пьяные, ступить первым шагом. Лестница была крута. Я чувствовал, что Олежка как бы из воздуха возник и теперь стоит сзади. Все же он не толкнул меня вниз, хотя в ту минуту это не стоило бы ему особых физических усилий. (Возможно, он пожалел. Или же подумал, что дальше со мной будет много воз-

ни, что я поломаюсь, стану стонать, и как ни бессознателен буду я после падения, к тому же еще и пьяный, ничего не соображающий, все равно они все (и он, возможно, тоже) начнут туда-сюда бегать, звонить по телефону, переносить меня на руках, также и девчонки, переставшие танцевать, чтобы только поохать, – течение вечера, несомненно, сломается, это уж ясно. Возможно, вечер он и пожалел, хороший вечер.) Не столкнул. Я медленно ковылял по ступенькам, растопырив руки, держась то за стену, то за крутые скользкие перила. Шатко, неуверенно топал. Когда, одолев первый марш вниз, я перевел дух и оглянулся, он стоял сзади как бы на высокой горе и зло крикнул мне сверху: «Ступай, ступай! И чтоб духа твоего здесь не было!..» – а я улыбался ему, пошатывающийся, ничего в ту минуту не понимая. Улыбался, приветливо и пьяно винясь: мол, до свидания, дружище... мол, извини.

Он не сказал мне – и больше к нам не приходи! мол, тут тоже твоя развилка! – не сказал и не знал он этого слова, но развилка вспыхнула в моем сознании сама собой. Мгновенная фантазия неслучившегося.

Я вышел на улицу, на снег. Стоял теперь на снегу, пошатываясь и глядя вверх. В трех их окнах горел яркий свет. Доносилась и музыка. Возможно, я чуть протрезвел. Силуэты двух девушек, одна из них, кажется, Маринка, но не Маша. И еще высокий парень, отсюда неузнаваемый. Я смотрел на их окна – и смотрел выше, на белую муть падающего снега;

меня охватило тихое ликование: я жив. «Я жив», – повторил я себе самому вслух, вбирая отсюда вновь силуэты девушек, и с ними высокого парня с сигаретой, и где-то за их спинами убогого Алика и экстремиста Олежку, который меня не столкнул. Дрящящая жизнь и они, молодые, – все вместе составляло сейчас мое ощущение, мое переживание. И одновременно ощущение благодарности за то, что мне дано переживать; дано мне не за что-то, а просто так.

Следующее, что я увидел сразу после моего отважного и нелегкого спуска по крутой лестнице, – снег; чудо снега. Освещенный из окна пучком лучей, лежал под моими ногами квадрат снежной пыли, если поточнее, параллелограмм. За отделяющей граничной линией он посверкивал как из бархатной темноты.

Снег лежал в этом скошенном квадрате. И одновременно снег падал. Он появлялся снежинками в световом пучке и, ложась, добавлял снега, добавлял самое себя. Опьянение подталкивало меня что-то вспомнить, уже пробудило, но не давало никак расшифровать – жизнь моя попадала сейчас в рифму с их молодостью (и с моей молодостью). Я вспомнил, но не знал – что. (Воспоминание уже покачивалось во мне, как лодка на плаву.) Отклик, ауканье, несомненно, были из моей юности – оттуда. Расшифровать не умел, но одновременно точно знал – меня окликнули. В горле медленно собирался ком. Не умеющий на столь пронзительный оклик ответить и достаточно сильно пьяный, я стал на колени и так

стоял: этого стояния для ответа было мало, было недостаточно, так как, не приученный к ритуалу, я всегда и загодя боялся фальши. Но ведь одновременно (и это главное) я боялся спугнуть самого себя, притушить несильное колыхание души. И потому только топтался и топтался в снегу на коленях на освещенности скошенного квадрата, тогда как ком в горле все накупал.

Снег летел. Конечно, не миры, чего уж преувеличивать, но и не просто же снежинки летели и летели сверху, если я вот так требовательно спрашивал с них смысла. (А они – с меня.) Жизнь во мне на эти секунды замерла, словно бы усомнившись в чем-то слишком огромном, чтобы об этом подумать живому человеку. Снег падал, снег засыпал, заваливая все подряд. Накрывая давнего юного меня, и тот костер у реки, и бородача-утопленника (и его колоды ноги), уже десять снегов завалили ту развилку юности, некий проблеск, который был мне дан, ощущение великолепного подъема на той степной дороге, – какие десять, с ума сошел! если счесть, уже десятки снегов засыпали и завалили, и ведь как надежно, как сильно завалили, не откопать.

И я (живой, но уже раздражающий кого-то своим существованием), и она, та девушка (уже пожилая женщина, тоже не умершая), и тот мужик, что преобразился в милиционера, и люди из толпы, которых он расталкивал, – многие из них еще живы и сейчас топчут снег ногами, как я топчу его коленями. Мы в эту минуту над снегом.

Сколько умерло, молодых и немолодых, но жившие жили через тот снег и через следующий, через пятый – это, кажется, стоило благодарности. В том и суть, что нас, живых, сохранили, нас сберегли и как бы провели через эти сменяющиеся, ежегодные снега, все и вся завалили, а нас провели как бы за руку, и вот мы еще на нем, на белом. Подумав о благодарности, я и точно узнал ее среди других спутавшихся моих чувств. Я впал в благодарность. Особенную радость как раз и внушало то, что мы, сохраненные, обычны, незначительны, даже просто малы, – как в массе, так и порознь, – малы, а вот ведь нас сохранили. Нас оберегли. Нам дали это просто так. И безоценочно. Именно что не оценивая ни тех, ни этих. Тем самым нас вряд ли хоть сколько-то заметили, а жить дали. Просто так.

Но ведь я и хотел в ту минуту побыть (хотел пожить) помимо всех и иных чувств, кроме благодарности. Хотел побыть, думая о снеге будущего года, – молитва о жизни? А почему нет?.. И не только в том властном смысле, чтобы дожить до будущего снега или попомнить об этом скошенном квадрате, но опять же о прямой благодарности: о том, что не упал сам и что не столкнули с лестницы сильно пьяного (когда душа сама рвалась к Богу, и путь к нему, чуть подтолкни, был совсем прост и как бы даже естествен – лети!) – я без труда представил себе дробный шум падения тела, сухое раздирание мышц, переломы, вовсе не болезненные в первую минуту, ну, еще удар головой, не береги голову, вот

это единственное, что уже вошло в опыт. Не береги голову. И будь благодарным.

Духовность не зря же называют пищей: насыщает. И также возникает предел насыщения, почти тотчас за благодарностью. Вот с ней и уйди, повторял я себе, бормоча и вставая на разъезжающиеся в снегу ноги. Вставай, и пошли, пошли. Больше душа не примет.

ЗА ЧЕРТОЙ МИЛОСЕРДИЯ

Повесть

Долог наш путь...

1

2200-й год! Уже сколько лет нет войн, ни больших, ни малых, народы и концерны доверяют друг другу, и гуманистические ценности восторжествовали, но осталась эта чертова секретность, связанная с внедрением технологии! Соперничают, рвут друг у друга куски, мать их! – думал молодой человек, собираясь в дорогу.

Он тщательно побрился. Он смотрел на себя в зеркало. – Тс-ссс! – приложил он нарочито палец к губам.

Ему сказали, чтобы он собирался в командировку, не слишком об этом вокруг болтая. Ладно, – пообещал он, фыркнув. Он даже поворчал. На деле же слова начальства (и обстановка некоторой таинственности) его грели. Значит, его ценят. Значит – важно. Он испытывал подъем. А как иначе?.. Жизнь есть жизнь, и вот он, молодой человек, работающий в Москве, талантливый, честолюбивый, летит в командировку на испытательный полигон, расположенный где-то

в южных степях; летит туда, создав свой – да, свой! – узел АТм-241, готовый там его внедрить, исполненный уверенности и хорошего тщеславия, как это и положено молодому человеку.

Самолетом он прилетел в один из небольших городов, а уже оттуда специальным вертолетом, где он был единственным пассажиром, прибыл на полигон. Ведомственные тайны и борьба предприятий меж собой слишком в ходу, но когда-нибудь их конкуренция станет излишней, и всех этих секретчиков и засекретчиков, этих бездельников разгонят! – размышлял молодой человек (он, собственно, ощущал секретность пока лишь через одиночество: не с кем поговорить!).

Успех АТм-241 – это успех его самого и его сотрудников, каждому воздастся. Выразится ли успех в укрупнении их отдела? – он не знал и не хотел забегать мыслью вперед. Общество его не забудет, это ясно. Конечно же, хотелось славы, он был молод.

Как человек молодой, он пребывал в известном возбуждении уже просто в связи с самим фактом отъезда: уход из привычной колеи в незнакомость настраивал его, быть может, на поиск приключений, а быть может, просто (по генетической памяти) пробуждал в нем молодого человека былых времен, с его состоянием повышенной готовности. Он уже предощущал вспышку чувственности и вдруг подумал, что он ждет, возможно, встречи с женщиной – да, да! у них на юге, в силу

секретности региона, люди несколько оторваны от мира, и местные женщины, к примеру, невольно окажутся старомодны, не слишком развиты в сексе (это его возбуждало!), и чудесный старый их говор – кто знает! всякая поездка в незнакомые края как рождение. Человек как бы начинает сначала, а начало не может быть без встречи или без женщины, без Адама и Евы, хотя бы в приближенном и приблизительном варианте, – размышлял молодой человек, ощущая в себе не только понятный подъем сил перед предстоящей новизной, но и приятно замирающее сердце. При всем том оставался он внешне корректен и спокоен: деловая поездка.

К вертолету подкатил защитного цвета, крепкий, с брезентовыми бортами, укороченный автомобиль.

Молодой человек сказал встречающему:

– Да зачем?.. Вещей у меня нет. А тут, как я вижу, – совсем рядом.

И правда, комбинат-полигон был близко, ну, километр, а по такой замечательной степи и по такой погоде хотелось пройти первый километр ногами, пошуршать травой, размяться мышцами после скованного сидения в самолете. В степи все просматривается прекрасно – была хорошо видна защитного цвета ограда-стена, ее четкие несущие столбики и меж ними серые пролеты стены, красивые как раз серостью и обыкновенностью. Которая так естественна в степи и от которой отвык глаз, утомленный яркими красками большо-

го города.

Они все же настояли, чтобы он ехал, а не шел. Гипнотизм дороги. Встречающие хотели даже перехватить его чемоданчик. «Нет-нет. Я сам!.. Да право же, чемодан совсем легкий!» – и впрыгнул, не влез, а легко впрыгнул в машину, энергичный. Но ветер, с запахами полыни и дикой конопли, врывался в открытые вырезы брезента, дыши! – врывался и овеивал лицо, и степь была, степь лежала рядом, степь не кончалась. «Всего-то на три дня», – с сожалением подумал он, и кто-то из встречающих, с ним на сиденье рядом, словно ухватив выплескивающуюся его мысль, сказал:

– Вам здесь жить три дня! – но сказал с другой интонацией, мол, придется пожить и потерпеть, если вдруг окажутся бытовые неудобства, сравнительно с большим городом.

Но, конечно, предполагалось, что это только так говорится, и что о нем позаботятся, и что никаких неудобств не будет.

Теперь ограда приближалась, ее можно было рассмотреть. Кирпичная, серая, с облупившейся серой краской. Вид стены, тянувшейся ровно и далеко-далеко. Стена не внушала так уж сразу мысль о строгости и охраняемости, хотя именно ее неброскость, облупленность и очевидная во все стороны очищенность пространства говорили, разумеется, о досмотре. О глазе. О том, что никто тут просто так не подойдет, не поинтересуется, почему облупилась стена и почему это ее не красят. Стена как стена. Вот и ворота, – когда подъехали,

стала перед глазами также неброская, сделанная полукругом над воротами надпись, как во всех таких закрытых и засекреченных местах, «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

Домик. Элегантный. Дача с небольшим участком и садом, – сказал он себе мысленно. Что ж, очень приятно. Ага, поодаль еще один такой домик. Всего два. Стало быть, не много людей сюда приезжает. Считать мы умеем. Приезжают сюда редко и только по одному, самое многое – двое.

– Будете жить один, – сказал сопровождающий, мысли шли в параллель, очевидные мысли. – Немного поскучаете...

– Люблю побыть и один, – улыбнулся в ответ молодой человек.

Прошли внутрь. Дача, как назвал ее он, невелика, но опрятна, ухожена. Три комнаты, ковры. Прекрасный письменный стол с набором ручек. Компьютер, конечно. Сверкающая ванная комната – сопровождающий приоткрыл дверь, – смотрите, мол, оцените.

– ...Вы можете заказывать себе еду. Но не думайте, что наши дежурные блюда плохи, напротив. Вы молоды, и желудок, конечно, работает отлично, но, если хотите, приготовят вашу диету, здесь все продумано. Повар, правда, один. Но дока. Будете есть, к примеру, бессолевую пищу и даже не заметите.

Сопровождающий сделал шаг в направлении выхода.
Приостановился:

– Я прощаюсь. Отдохните. Завтра – работа. За вами придут в девять утра... А сегодня вы ужинать не хотите? Повар должен знать ваши слабые места, это я так шучу...

Он был уже у выхода и крикнул:

– Холодильник набит соками и вином!

Машина с брезентовыми бортами зашумела, уехала.

Что ж, приняли отлично. Почему бы и нет? На комбинате синтезируется высочайшего класса белок, поступающий затем в пищу и дающий всем нам жизнь. Потому и технология держится в секрете. Ведомственные барьеры и здоровая конкуренция.

Проблема проблем – протеин! Синтезируется говядина или, скажем, свинина по образцам прошлых веков. (Уже почти сто лет, как ни птица, ни рыба и ничто живое не идет в пищу, гуманизм!) Известно, что в дело идут только травы. А остальное, уж извините, секрет. Комбинатов немало, и они, видно, хитро разбросаны здесь по степям – всюду трава и трава, огромные огороженные степные территории. И как же не принять хорошо человека, который внедрит в их законсервированный мир такую штуку, как АТМ-241?!

Мысли его набегали легко, даже чуть восторженно. Глаза тем временем осматривали жильё, привыкая к стенам, к гравюрам, развешенным со старомодной навязчивостью на стенных пустотах. Однообразная белизна дня. Что-то в нем вновь напряглось, словно бы готовность к опасности, ожидание. Поймав себя на повторении, он отметил: а-а, память

о молодом человеке былых веков, которому, как молодому волку, приходилось хорошо побегать, чтобы существовать. Он улыбнулся, удивляясь цепкости генетической памяти. Нет-нет и прадедовское прошлое вдруг оживает. Движешься в пространстве, а словно бы во времени. Вот ведь!

Перед сном он вышел подышать степью, побродить, прогуливаясь вкруговую возле своего домика.

Они шли вдвоем в направлении цехов.

– ...нам ваша интегральщина не нужна. А ведь народные денежки вы распыляете, и еще как распыляете! И к тому же от всех этих ваших внедрений конечно же утекает прежняя информация. Вы приехали – и вы уехали, верно? А вот раньше было не так. Если что-то для нас внедрил – здесь и оставайся. Навсегда. А как иначе: любишь науку – вложи в нее свою жизнь, тогда мы тебе и твоей науке поверим. Помогли?! Какая там помощь! Справлялись мы и до вас, справляться будем и после вас, верно?

Молодой командированный понимал, что ворчание старика инженера обычно (и даже типично, старые верные кадры должны ворчать), однако же заметил:

– Но ведь я работал, я несколько лет обдумывал проблему. Зачем вы так небрежны к моей работе?

Батяня (так запросто звали здесь старого инженера) подхватил:

– Да вот я и говорю – зачем человека с места срывать,

пусть там себе сидит в городе и думает сколько хочет...

– Ну знаете. Это обидно. Зачем же я тогда трудился? Зачем вообще люди трудятся?

Он почувствовал обиду, даже спазм в желудке – как неприятно! Но, перемолчав и обиду подавив, он ощутил, что желудочный спазм никак не проходит. И тут только сообразил, что причина неприятного самоощущения не внутри, а вовне его. Запах. Что там такое?..

– Не оглядывайтесь. Не суйте нос. Вы увидите все, но непременно по порядку – когда ваш узел будут вводить в действие.

Старики еще и педанты, понятно. Молодой человек скользнул глазами по конвейеру – пять-шесть чанов, подвешенных довольно высоко, медленно ползли и источали запах, запах бил в ноздри, в самую душу, и молодой человек узнал его: запах синтезированной крови; чтобы синтезировать настоящее мясо, надо же синтезировать и кровь. Но запах был резкий, чего-то они там со своей химией перегустили...

– Неприятно? Глотните-ка спиртного, – сказал Батяня, предлагая фляжку.

– Не надо мне вашего спиртного. Я не мальчик. – Молодой человек оттолкнул руку с фляжкой, а тот совал ее ему прямо в нос, возможно, хотел перебить запах.

Но может быть, синтез был не так уж плох. Это ведь как знак качества – известно, что запах крови вызывает агрес-

сивность, и, возможно, я уже под некоторым воздействием, – подумал молодой человек.

– Обратите внимание, – закрипел вновь Батяня своим ворчливым голосом. – Здесь финиш. Сюда поступает уже полностью готовая продукция (он не сказал *мясо*), видите. висят часы. Они показывают время процесса от включения рубильника. Полное время... Ваша модификация узла должна дать не более сорока секунд удлинения всего процесса. Знаю, знаю. Не перебивайте!.. Я знаю, что у вас потеря времени двадцать шесть секунд. Но я в них позволю себе сильно сомневаться. Пусть будет хотя бы сорок! Пусть!.. Иначе я сам пойду к директору комбината на прием, с тем чтобы вас гнали отсюда. Чтобы на вас написали телегу в вашу организацию и чтобы вам навсегда перекрыли кислород там, где вы, извините за выражение, трудитесь! Чтобы вам ёкалось еще лет десять, понятно?

– Понятно.

– Нет, не понятно!.. Я старый инженер, и я знаю, что такое остановить конвейер. Что такое прервать цикл. А из-за вас мы остановим линию почти на час, пока вмонтируем ваш АТм-241...

Он жестом позвал:

– Идите сюда.

Они вышли (они прошли финишную комнату конвейера, с висячими часами, как бы насквозь). Стало легче дышать, воздух был свеж, чувствовалась близость степи. Вдали стоя-

ли оранжевые двухэтажные дома, которые приятно смотрелись сквозь высокую стену зеленых насаждений, дикий виноград или хмель?

Батяня пояснил:

– Там живут наши рабочие. Да, они никуда отсюда не уезжают, чтобы информация не расплылась. Они и не хотят. Здесь у них отличные магазины, тряпки для их баб по самой последней моде.

А какой спорткомплекс! бассейны!.. Ограда цехов? Да эта ограда просто так. Чтобы наши детишки сюда не забежали в погоне за какой-нибудь яркой бабочкой. Чтобы запахи не били им в душу...

– Мы кого-то ждем?

– Да. Сейчас подойдет ваш техник... Так вот: здесь мы, конечно, не можем быть слишком секретны, сосед есть сосед, семья есть семья, все всё знают. И мы, конечно, не запрещаем – мы только не советуем в их семейных разговорах говорить про наших «коровок», – Батяня кивнул головой в сторону чанов, – так лучше. Коровка – ласковое слово, но мы не советуем его употреблять.

Молодой человек смотрел на плывущие медленно чаны, они действительно напоминали формой коров, медленно движущихся одна за одной к некоему условному водопою. Подошел инженер-техник (человек, который сделал его узел уже загодя, по переданным сюда чертежам и схемам). Он представился, пожал руку – энергичный человек.

Через АТм-241, который молодой командированный так долго вынашивал в замысле, а инженер-техник так долго лепил в своих руках, они оба были как породненные. Как приятели уже многолетней выдержки. Они с интересом посмотрели друг на друга, словно бы и впрямь ощущая некоторое отдаленное родство не по крови.

– Ворчит наш старенький, а? – Инженер-техник подмигнул командированному, очевидно имея в виду Батяню. И тут же сам смягчил: – Не обращайтесь внимания. Он человек добрый, он добрейший, в сущности, наш Батяня!

Он хотел потрепать старого инженера дружески по плечу, но тот отвел руку:

– Вот еще!.. У нас работа, а не юбилей.

Условившись о часе встречи, инженер-техник ушел.

Конвейер медленно накатывал чаны-коровки. Возле чанов, одетые в белое, трудились женщины, нажимали на кнопки, выстреливая из ампул строгое число граммов вкусовых эссенций. Женщины были молоды, белая одежда подчеркивала формы – и тут же вновь волна запахов, вновь дурнота и сквозь дурноту восторженное мужское естество. Инстинкт, – сказал себе командированный молодой человек, отмечая, что, как ни отвратителен запах, он дает мужчине почувствовать себя сильным, даже могучим. Неотрывно смотрел он теперь на женское тело в белой одежде. Выбрал одну и смотрел, угадывая формы.

– Да что ж закрышки чанов так плохо прикрыли? – возмутился Батяня. Он снова потряс фляжкой. – Не надо? Глоток-два?.. Ну и слава богу, что не хотите. Запахи по-разному действуют, непривычный человек может и в истерику впасть. Один командированный как раз на вашем месте стоял – начал эту решетку – видите ее? – рвать руками, раскачивал, чтобы унять нервы. Видите? Металл погнул, а такой, казалось, хиляк-интеллигентик...

Батяня заспешил – скорее отсюда! (Он глотнул из своей фляжки.)

В цех они вошли в обратном направлении к движению конвейера.

– ...Я видел, как вы глядели на женщину, – вот вам и пример. Деторождение как долго держалось в тайне, как тщательно хранилось. И ведь не только в церквях всех мастей, в миру деторождение тоже куталось в любовь, в чувство. А почему?.. А потому, что никто никогда деторождение не совершенствовал. А как только пошли аборты, таблетки, гормоны, как только пошли по мужским карманам припасенные на вечерок гондоны, извините, я хотел сказать – презервативы, ну, старый человек, простите, простите, – и это было еще задолго до того, как мы успели победить СПИД, а ведь СПИД победили только в прошлом веке! – и пошло-поехало, какая там тайна! Уже сопляки-подростки – вчера слышал своими старыми ушами – толковали о том, что женщина, в первой своей встрече с каждым мужчиной, обязана в посте-

ли постанывать, чтобы, не дай бог, не лишит мужчину уверенности и силы...

– Простите. Вы о тайне?.. Или о женщинах? – перебил молодой командированный с иронией.

– О тайне, о тайне! о чем же мы еще говорим! Я всегда доказывал, никаких внедрений, никаких АТМ двести сорок хреновых номеров... Сейчас, к сожалению, я только брюзжу, а раньше я умел убедить. Еще пять лет назад я убедил одного молодого ничего не внедрять. Его, как и вас, прислали, а я таки сумел убедить его, и он отказался внедрять, уехал...

– Со мной не пройдет.

– Да уж вижу, вижу. Но его я убедил. И он так и написал в докладной: не желаю работать с вами... К сожалению, других направлений работы на этом свете нет. Пока не придуманы. Так и уехал ни с чем, бедный.

Этакий простяга, ворчащий Вергилий, Батяня вводил в дело:

– И здесь часы. Видите? Здесь тоже будем проходить, когда в конвейер подключится ваш АТМ-241. Я немногословен, когда узел обкатывается. У меня два слова: *отлично* и второе мое слово – молчание. Сами понимаете, что оно означает. Оно означает – *хреново*. А *отлично* – это если график будет выдерживаться с потерей всего сорока секунд, как вы нам и обещали. Знаю, знаю про двадцать шесть секунд! Но кто же в них поверит?

И тут же теплая волна чувства, когда безо всякой паузы

этот чертов Батяня произнес:

– Здесь будет поставлен ваш узел. Да, в этой комнате. Можете на миг войти...

Комната средних размеров и совершенно пуста. Лишь по полу через середину комнаты тянулся прозрачный полиэтиленовый шланг, по которому – было хорошо видно – проталкивалась толчками пульсирующая каша будущей пищи. Пустая комната, и в середине ее ниточка шланга. Командированный молодой человек, захваченный волнением, молчал. Знак переживания. Сердце его тихо било, подталкивая кровь чуть ли не теми же пульсирующими ударами. Прозрачный, дышащий, как сосуд, шланг был тонок, не толще девичьей руки у запястья... Да, здесь шланг разрежется скальпелем и в течение одного часа вмонтируется и будет подключен ваш узел, – да, разумеется, шланг войдет в АТМ-241 и затем из него выйдет. Вот – всё.

Молодой командированный тут же оговорил условие: во время испытания он хотел бы видеть весь конвейер – он хочет быть убежден, что секунды не потеряются где-то в пути, на чужих стыках.

– Общее время? – Батяня кивнул. – Разумеется, мы его полностью учтем. Но зачем оно вам? Ах, не доверяете. Ладно, посмотрите от и до, но только в третий, в последний день. Сами проследите каждую секунду. Пожалуйста. Да, даже два хронометра. Один у вас будет в руках для маневрирования туда-сюда, а второй, соединенный с общим компьютером,

будет стабильно висеть на вашем брюхе – знай поглядывай.

И он вскинул брови, как бы пугая:

– Да-да, два хронометра у вас, но и у меня тоже два!

– Вот и прекрасно, – молодой человек улыбнулся.

– Вот именно. Прекрасно. Два у вас и два у меня. Может быть, с нами пройдет вдоль конвейера и директор комбината. Но не обязательно.

Она постучала тихо, старомодным робким пристуком, и вошла с некоторой заминкой, когда он сказал: «Войдите», – в руках ее было симпатичное ведерко для мусора и крохотный пылесос. На тонкой шее, как медальон, чуть менее ее ладони коробочка-рация. Вероятно, для связи; администрация в любую минуту может знать, где она сейчас убирает и каково состояние гостевого домика на данный момент. Она убирала в комнатах быстро, легко, иногда отмахивая темные волосы со лба, – она приостанавливалась, двигалась. Он стоял у окна: все еще длилась та не оформленная чувством минута, когда она вошла и коротко, скромно представилась:

– Оля.

А он назвал себя.

Она прибирала в общем-то в чистой комнате: вытирала пыль. Пять минут – и вот она вымыла руки, погляделась в зеркало, а затем подала на стол чай на подносе, печенье. И он, конечно, попросил – мол, побудьте со мной. Выпейте со мной чаю. Она присела в кресло, что напротив.

Оба улыбнулись – стало легко. Они пили чай и беседовали.

– А я боялась, что вы старый. Старые пристают...

– А молодые?

Она засмеялась:

– А молодые смущаются.

– Так, как я?

Она кивнула, произнесла что-то невнятное. Он заметил, что сама она тоже смутилась.

Он спросил – командированные давно не приезжали?

– Да. Больше полугода...

И тут же добавила:

– Я еще вчера видела свет у вас. Я прибирала в соседнем домике. И подумала о вас.

– А, так это вы были там! Я тоже видел вспыхнувший в окнах свет, на три-четыре минуты, да?

Он чувствовал возникшую взаимную симпатию, пока еще осторожную, сдержанную, однако же требующую и каких-то усилий для продолжения. Лицо ее было несколько простоецкое, но приятное... Он продолжал говорить, кажется, игриво и, возможно, пошловато, но именно от волнения, от спутанности чувств, впадая в чужие чьи-то слова. С ней, кажется, происходило то же самое: вдруг вырывался короткий робкий смешок, и тут же она смущалась.

После чая он включил музыку. Негромко. Затем спросил, замужем ли она, она ответила «нет» и одновременно покача-

ла головой: нет. И встала, чтобы уйти, краска бросилась ей в лицо. Он понял, что миг – и он ее упустит. Быстро выключил музыку магнитофона и подошел к ней.

– Вы такая... – начал было он, но она приложила палец к губам. И этим же пальцем вслед указала на находившуюся возле ее нагрудного кармана висячую коробочку рации.

Он понял. Он кивнул – мол, нем как рыба.

И, уже смелый, протянул руки, она легко сделала шаг навстречу. Он даже прикрыл глаза, как подросток. «Какое счастье!» – подумал он и задохнулся. И через час, когда она ушла, повторил про себя: какая удача, какое счастье, как хорошо я нынче засну.

Он уже лег, когда вспомнил, что надо бы позвонить инженеру-технику, раз тот сам не звонит.

– Простите, – сказал он в трубку, – еще не поздно, вы не спите? Я ведь волнуюсь. Завтра монтаж нашего узла. Вы еще раз смотрели его сегодня?

– Разумеется!

– М-м... Вот, собственно, и весь мой вопрос. Только это и хотел спросить.

Инженер-техник засмеялся:

– Ну-ну, никаких волнений. Спите спокойно. Узел – чудо. Узел – просто красавец!

В смехе его была не только бодрость и не только желание приободрить – была уверенность. (Это лучше, чем одержимость.) И тогда командированный молодой человек тоже об-

легченно засмеялся. Повесил трубку. И вспомнил, что сегодня он сладко заснет.

И как раз тут Оля вернулась. Возвращение было неожиданно. Она что-то ему сказала, мол, не уверена, не испортился ли маленький холодильник с закусками... И стояла на пороге. Молодой человек уже понял, что она хочет быть с ним, хочет остаться, но на его лице, по-видимому, еще плавало некоторое удивление от неожиданности ее возвращения.

– Не пугайтесь. Я не останусь, – сказала она с тенью обиды.

– Я этого не пугаюсь. Я этого хочу. Я лишь чуть растерялся, – честно признался он.

Оказывается, она хотела ему хоть что-то рассказать о себе, поделиться. Да, да. Ведь хочется иногда рассказать. Они лежали рядом. Любовь их теперь была неспешной. Она почти не стонала, но приятно было более, чем в первый раз, горячка миновала, сошла. Тишина. Ближе к ночи, чем к вечеру.

Она рассказывала о себе: наивная, простенькая история о том, как она жила раньше где-то на Украине. Там были подсолнухи, прилетали птицы и клевали подсолнухи в их большие свешенные головы; головы подсолнухов обматывали марлей, но птицы все равно выклевывали свое. Ей было ничуть не жалко подсолнухов для птиц. Птицы прилетали только на заре, когда она, маленькая Оля, спала. Да, она перенесла тяжелое заболевание...

– Какое?

– Я не знаю.

– А в чем оно выражалось?

– Я очень медленно соображала. Я и сейчас такая. Я почти не училась. Я не могла нигде работать...

– Но тебе должны были дать пособие.

– Мне дали. Но я хотела быть с людьми. Я хотела работать, но меня никто не брал... Наконец взяли сюда.

Он спросил:

– Без права выезда?

– Да.

Она рассказывала, что она привыкла здесь жить и что здесь все-таки с ней рядом люди. Но иногда ей хочется на Украину.

Ей хочется найти тот домик, где она лежала больная и где за окном были подсолнухи и мальвы.

– Может быть, это было в раннем детстве?

– Д-да, – сказала она, не помня точно.

Он встал, прошел в темноте к холодильнику, взял вина и налил себе. «Выпьешь вина?» – спросил. Она сказала: «Только очень немного. Я от вина делаюсь совсем глупенькая... Ты же знаешь: я болела и не умею думать...» Он выпил, а она все держала свой бокал, придерживая на груди простыню другой рукой. Потом и вовсе поставила бокал на столик.

Она сказала, как ей хочется на Украину, и заплакала. У

нее даже сердце щемит, вот здесь. Положи руку сюда, – попросила она. Теперь сюда... и засмеялась негромко, робко: хи-хи-хи-хи.

2

Весь АТм-241 находился уже в комнате: командированный молодой человек впервые рассматривал свое произведение не на чертеже и не в уменьшенном варианте на стенде, а в живом виде – в металле и в пластике, с вереницей прозрачных приводов, которые тянулись один за другим, опрятные, уже вытертые от предохраняющей смазки. Инженер-техник, выспавшийся и веселый, распорядился подготовкой: как всегда бодр. Он с улыбкой кивнул командированному: мол, все в порядке!.. «Это сюда! А это ставь сюда!.. А второй привод поставь-ка тут; да, да, вместе с основанием!..» – руководил он рабочими.

Появился Батяня:

– Доброе утро... Ну? Нравится вам, как работает инженер-техник?

– Очень!

– Еще бы!.. Один из лучших наших специалистов. Граненое достоинство. Он из добровольцев. Из решивших работать здесь всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, мне надоели и вербованные, и командированные – уж извините старика, я называю всех вас шушерой... От вас все надо скрывать, прятать, зато ведь и денежек тратится изрядно.

Молодой человек засмеялся:

– Да уж. Засекретились вы будь здоров! Как в прошлые

века!

– Вам смешно. А я от этих жмурок-пряток сплю плохо...
Кстати, подойдите-ка вот к тому усатому мужчине – заполним подписку о неразглашении.

– Минутку...

Молодой командированный, разговаривая, одновременно внимательнейшим образом осматривал каждый вносимый компонент узла. Взгляд – его лицо вспыхнуло, и вот он уже метнулся к рослому рабочему: «Ставьте! Ставьте!..» – и, обрывая руками оберточную фольгу, всматривался в металл: он ему не нравился. Вместо хромированных сталей банально белесый цвет, неужели дешевка?! Инженер-техник тот час подошел. Они оба присели над коленным компонентом. «Ага. Испугались?.. Это наш тен-металл!» Инженер-техник постучал пальцем по металлическому овальному срезу, и характерный вибрационный шумок сразу попал в уши.

– Слава богу! – молодой командированный вздохнул с облегчением.

– А вы как думали? Денег не жалеем! – сказал инженер-техник, и рабочие вокруг одобрительно засмеялись.

Командированный вернулся к Батяне.

– Иду, иду! – сказал он тому усатому, кто держал наготове подписку. На большой папке чистый форменный лист. Авторучка. Даже колпачок уже снят, перо дышит тушью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.